

Библиотека журнала «Мишпоха»
Серия «Мое местечко»

Аркадий Шульман

НА РОДИНЕ МОИХ СНОВ

Очерки

Минск
«Медисонт»
2013

УДК
ББК
Ш

Шульман А.Л.
Ш –

На родине моих снов: очерки / Аркадий Шульман; 2013.

ISBN

«На родине моих снов» – девятая книга в серии «Мое местечко». Рассказывает об истории и жителях Дубровно, Толочина, Германовичей и Лужков, бывших когда-то еврейскими местечками. Документальная повесть «Алхимик новейшего времени» рассказывает о Рувиме Захаровиче Кожевникове – участнике Великой Отечественной войны, изобретателе, конструкторе, Почетном гражданине Городка (Витебская область).

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

УДК
ББК

ISBN

Каждое местечко гордится своими знаменитыми земляками. «Других таких нет на всем белом свете», — скажут вам, и будут правы, даже если земляки на поверку не такие уж знаменитые.

У местечковых — особая гордость за свою малую родину и патриотизм, который передается по наследству детям и внукам, даже если они давно уже не живут в этом местечке. Каждый житель местечка считает свои родные места самыми красивыми, а своих земляков — самыми талантливыми и самыми известными.

Имя художника Марка Шагала и названия Лиозно, Витебск — звучат, как синонимы. Когда говорим об основоположнике религиозного учения ХАБАД рабби Шнеуре-Залмане, тут же вспоминаем местечко Ляды.

Хаим Сутин, живший и творивший значительную часть своей жизни в Париже, в истории навсегда останется выходцем из Смиловичей.

В Лужках — на родине человека, возродившего язык иврит, далеко не все знают его родовую фамилию — Перельман, или ту, под которой он вошел в мировую историю: Бен-Иегуда. Нет мемориальной доски, а чудом сохранившиеся стены школы, в которой он учился, стоят без крыши, окон и дверей.

Великий американский джазовый музыкант Ирвинг Берлин не упоминал в своей биографии белорусский городок Толочин. Делал это то ли по незнанию собственной биографии, то ли пытаясь придать ей большую экзотичность. Называл местом рождения сибирский город Тюмень. Но несмотря на это Изя Бейлин, который уже в Америке стал Ирвингом Берлиным, все равно самыми тесными узами связан с белорусской землей.

В Дубровно нет железнодорожной станции, ближайшая в восьми километрах от районного центра. По иронии судьбы здесь родился крупнейший строитель российских железных дорог Самуил Поляков...

Мы путешествуем по местечкам Витебской области, вспоминаем тех, кто оставил заметный след в истории, и не забываем их незначенитых родственников, соседей, друзей.

НА РОДИНЕ МОИХ СНОВ

Знакомство, как сейчас это часто бывает, произошло по интернету. Получил письмо от незнакомого человека из Санкт-Петербурга, в котором он сообщал, что родился в Дубровно, в гетто погиб его отец, и память о нем, память о расстрелянном мире, в котором он вырос, бережит душу многие годы. Я пересказываю суть письма своими словами, не уходя ни на йоту от его смысла.

В тот же день ответил на письмо. Наверное, мой ответ мог показаться дежурным: готов встретиться, поехать в Дубровно. Обычно вслед за такими письмами завязывается многомесячная, не всегда регулярная переписка, согласовываются сроки поездки и т.д.

А здесь, буквально через день, получил новое сообщение из Санкт-Петербурга – выезжаю, встречаемся, едем... Уже потом я догадался, что такая оперативность идет и оттого, что его душа действительно болит и хочется успеть сделать как можно больше, а вся предыдущая жизнь военного человека (в отставку он вышел подполковником) воспитала не только строгую дисциплину, но и умение исполнять свои решения.

В общем, события развивались со спринтерской скоростью, и я встречал Юрия Аркадьевича Нирмана в Витебске. Из машины, за рулем которой сидел его внучатый племянник Женя, вышел уже немолодой, совершенно седой и не совсем здоровый человек (дай Бог ему 120 лет жизни!), и я еще раз удивился: он передвигался с помощью двух костылей. Юрий Аркадьевич, как мне показалось, в хорошей кондиции, но вот ноги... Потом, узнав историю семьи, я поневоле подумал, что судьба «бьет по ногам» Нирманов. Он, оба брата... Но никто из них никогда не сдавался, не раскисал. И это тоже – семейное, возможно, наследственное. Километражу, проделанному Юрием Аркадьевичем не только благодаря машине, а в первую очередь, благодаря характеру, могут позавидовать люди более молодые и более здоровые.

Вот с таким человеком я сел в машину, и в тот же вечер мы отправились в путь. От Витебска до Дубровно чуть более ста километров, и у нас было время поговорить в дороге.

Юрий Аркадьевич хороший рассказчик, и в памяти накоплено много интересного: о юношеских годах, воинской службе и просто о житейских перипетиях. Более чем за семь десятков лет пришлось жить и в больших городах, и в захолустье, встречаться с самыми разными людьми.

У нас была тема, ради которой отправились в путь, и о чем бы разговор ни заходил, мы возвращались к ней.

— Наша семья до Великой Отечественной войны жила в Дубровно. Это небольшой город, расположенный по обе стороны Днепра в 22 километрах от Орши. Мы жили на улице Крылова, близко от левого берега реки. У нас был большой дом и большая семья: мама, папа, четыре брата. Старший брат Гриша — 1921 года рождения, потом Миша — 1925 года, Гера — 1928 года, и я, родившийся за три года до начала войны.

Отец, его звали Арон Евелевич, работал мясником, скупал скот в близлежащих деревнях, занимался его убоем, разделкой. Был магазин, куда он определял мясо на продажу. Физически очень сильный человек. Да и работа у него была такая, что требовала большой силы. Папа был ровесником XX века, а наша семья на себе прочувствовала все острые углы этого столетия.

Доносы на более благополучных соседей, сослуживцев писали во все годы. Но в тридцатые — власти инициировали это, им всюду мерещились классовые враги. И на отца писали доносы, что он где-то в тайнике прячет золотые монеты. Его вызывали в ОГПУ (правоохранительно-карательные органы — это я объясняю для тех, кто, слава Богу, уже не знает этой аббревиатуры), допрашивали. Мама говорила, что допросы велись с пристрастием, то есть отца пытали, что в те годы было в порядке вещей. Может быть, у отца где-то и была «золотая заначка», но он о ней ничего не сказал, выдержал все допросы.

В конце концов, ему припомнили, что он был частным торговцем при НЭПе, и объявили лишенцем, как классово чуждый элемент. В те годы была такая терминология. Лишенцы не могли участвовать в выборах, получать от государства какие-либо материальные блага, были введены и другие ограничения, вплоть до того, что лишенцы не могли вступать в профсоюзы.

Семья не была богатой, впрочем, в те годы уже не оставалось по-настоящему богатых семей, но никогда не была бедной. Отец много работал. Он считал, что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать семью — это его обязанность.

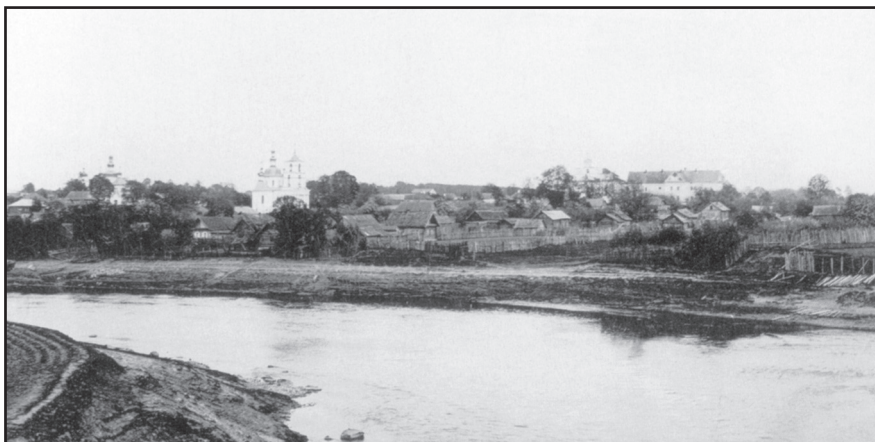
Перед войной уже и старший брат Гриша пошел работать в типографию. У нас дома не боялись никакой работы, отец сумел привить это чувство детям, за что мы все ему были благодарны.

Маму звали Геня Нирман (девичья фамилия Полина). Все мои дедушки, бабушки жили в Дубровно. У родственников уже были жены из близлежащих местечек: Копыси, Россасно, Смольян и других. Для нашей семьи Дубровно — родовое гнездо.

Правда, в начале XX века Нирманы стали разъезжаться по белу свету. Старший брат отца — Борух в 1914 году смог попасть на какой-то пароход, зарылся в уголь, его не заметили, когда отплывали, и он эмигрировал в Америку. Жил в Чикаго и со временем стал богатым человеком — владел скотобойнями. Наверное, это была семейная профессия, и она передалась Арону и Боруху.

Два других отцовских брата Залман и Симон в годы Великой Отечественной войны воевали и погибли на фронте. Фронтовиком был еще один папин брат — Беньямин. С войны он вер-

Дубровно, начало XX века.



нулся весь израненный. Поселился в Орше. Работал на очень тяжелой работе – возчиком основ на льнокомбинате. Была у отца сестра – Сима. Она до войны училась в Ленинграде, потом работала горным инженером, занималась разведкой полезных ископаемых. В годы войны помогала нам: присылала деньги, вещи своего сына, стиранные, штопанные, но очень аккуратные. Я носил их. У Нирманов была очень дружная семья.

Война заставила нас покинуть Дубровно и разрушила мир, в котором мы выросли. Этот мир уже не вернулся и живет сейчас только в памяти таких пожилых людей, как я.

Отступление первое Историческое

После моего возвращения из поездки я заинтересовался Дубровно, историей евреев этого города. И нашел много интересного.

Первое упоминание о дубровенских евреях относится к 1685 году. В то время местечко находилось под властью Польши, входило в Трокское воеводство Оршанского повета.

В XVIII веке Дубровно уже играло заметную роль в общественной жизни белорусских евреев. В 1715 году здесь проходили совещания белорусского ВААДа – органа еврейского самоуправления. По переписи 1766 года в кагальном округе Дубровно числился 801 еврей. В 1798–1800 годах евреям принадлежало 207 дворов. Еврейское население Дубровно неизменно росло, строились новые дома, целые улицы заселялись евреями. В 1880 году им принадлежало 453 дома из 913. В 1891 году в Дубровно поселилось 10 еврейских семей, высланных из Москвы.

Пожалуй, самое известное историческое повествование, вероятно, не сыгравшее глобальной роли в жизни дубровенских евреев, но и по сегодняшний день кочующее из издания в издание, – это «Дело о сожжении отставного морского флота капитан-поручика Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Вороха Лейбова за соращение его».

Имя Бороха Лейбова встречается в русских документах еще в 1722 году. Смоленские мещане обратились тогда в Святейший Синод с жалобой на евреев, которые развращающе действуют на христиан, и упомянули в жалобе имя откупщика таможенных и питейных сборов богача Бороха Лейбова, который в селе Зверовичи под Смоленском устроил синагогу возле церкви Николая Чудотворца и до смерти избил священника того села Авраамия, который «чинил ему, жиду, всякие противности в строении школы». И хотя Борох Лейбов отрицал свою вину и утверждал, что священник умер от пьянства, а не от побоев, Синод приказал «противную христианской церкви жидовского учения школу разорить до основания», а «книги и прочее собрать и сжечь без остатку». Это было немедленно исполнено: молельню разрушили, книги сожгли, а через несколько лет после этого всех евреев села Зверовичи вместе с Борохом Лейбовым выслали из России.

«Борох продолжал приезжать в Россию по делам, встретился в Москве с отставным капитаном русского флота Александром Возницыным и «совратил» его. Решив принять иудейство, Возницын поехал в пограничное белорусское село Дубровно, где жил Борох Лейбов, и подвергся там обряду обрезания. В 1737 году его жена подала донос в московскую канцелярию Синода, в котором сообщила, что ее муж, «оставя святую православную веру, имеет веру жидовскую и субботствует, и никаких праздников не почитает... молитву имеет по жидовскому закону, оборотясь к стене... а дружбу он имел с жидом Борох Лейбовым...»

Занималась этим делом знаменитая канцелярия тайных розыскных дел, где Бороха Лейбова допрашивали без пыток, а Возницына подвергли мучительным истязаниям. Свидетели показали, что обвиняемый «лепешки пресные по жидовскому закону пек и ел; жидовский шабес держал; взяв курицу русскую, резал ее так, как видел у жидов, и ту курицу варил он, Возницын, в пятницу до захождения солнца, а в субботу ее ел». Выявились и другие факты, которые подтверждали его вину, но самым главным было обрезание. Сказано в протоколе допроса: «Об обрезании Возницын показал, что он не был обрезан, а тайный уд у него хоть и поврежден, но от бывшей у него прежде французской болезни, от которой лечил его и резал ему тот тайный уд

лекарь, который уже умер”. Но дворовые люди опровергли это заявление. Они показали, что до отъезда в Польшу Возницын брал их с собой в баню, а после этого перестал, и что никакого повреждения они у него прежде не видели. После допроса под пыткой Возницын изменил свои показания и сообщил комиссии, что по пути в Польшу он ознобил указанное место, на что следователи довольно резонно отметили в протоколе допроса, что при самом жестоком морозе “подлежало быть озноблену какому иному члену, а наипаче лицу, рукам и ногам, а не тайному уду”. Жена Возницына также показала, что до отъезда мужа в Польшу никакого повреждения у него не видела, а по приезде его из Польши – повреждение усмотрела.

Сенат постановил предать виновных смертной казни, а императрица Анна Иоанновна собственноручно начертала резолюцию: “Дабы далее сие богопротивное дело не продолжилось... обоих казнить смертию – сжечь”. Экзекуцию провели на Адмиралтейском острове в Петербурге, возле нового Гостиного двора – 15 июля 1738 года. В специальном объявлении было указано, чтобы “всякого чина люди для смотрения той экзекуции сходились к тому месту означенного числа, по утру с восьмого часа”. И в назначенный час отставной капитан-поручик Александр Возницын и Борох Лейбов были сожжены. После казни последовала резолюция императрицы, чтобы вдове Возницына была выделена часть из оставшегося после него имущества “и о прибавке ей, сверх того, ста душ за учиненный донос на мужа”.

В XIX веке в одном из городков Могилевской губернии жила старуха-еврейка, которая рассказывала, что ее дед – Борох, по прозвищу Не торопись, был сожжен вместе с одним офицером, который при его содействии перешел в еврейство. По преданию, которое существовало в семье, это прозвище объясняется тем, что на пути к месту казни офицер старался приободрить Бороха и говорил ему то и дело: “Борох, не торопись! Борох, не торопись!” То есть: “Не волнуйся, Борох, крепись!”»

<http://chassidus.ru/library/history/kandel/15.htm>

Дубровно на протяжении всей своей истории везло на громкие имена. Период владения местечком Григория Потемкина (1774–1787) отразился в еврейском фольклоре. Думаю, что это

легенда, коих об Екатерине II и ее фаворите Потемкине было сложено немало. В каждом городе или местечке, каждый народ на своем языке, непременно что-то рассказывал, привязывая это к местной географии. Если и было какое-то основание для устного народного творчества, так только то, что Потемкин собирался в Дубровно построить ткацкую фабрику. Евреи, боясь, что это разрушит их маленькие кустарные мастерские по производству талесов и они останутся без заработка, неодобрительно восприняли такую перспективу.

«Собрали общинный сход и решили пойти к самой императрице с жалобой на ее фаворита. Долго думали они, как повлиять на Екатерину, и решили дать ей крупную взятку. Выбрали двух депутатов и отправили в Петербург. Представ перед императрицей, депутаты обещали ей “дать десять тысяч рублей, а то и больше”, лишь бы в Дубровно не строили фабрику. “Дураки!” – воскликнула просвещенная императрица, но решение о постройке фабрики все-таки велела отменить».

Ольга Минкина «Сыны Рахили: Еврейские депутаты в Российской империи, 1772–1825», Москва, 2011, с. 28

...В Дубровно с Юрием Нирманом мы заехали на старое еврейское кладбище. Вернее, на то место, где когда-то было кладбище. Во времена, когда его основали первые дубровенские евреи, оно находилось в западной стороне городка, у дороги, ведущей в Ляды. Поразительно, но в большом еврейском местечке было всего одно еврейское кладбище. Считалось, что покойников нельзя перевозить через реку, и поэтому в городах и местечках, через которые протекала река, кладбища обычно закладывали по обе ее стороны. Со временем, когда на старых кладбищах уже не было свободного места, еврейские общины выкупали землю для нового погоста. Так же хотели сделать в Дубровно, но миснагедский раввин Авраам Рабунский (дело относится к концу XIX века) почему-то воспротивился и сказал, что на старом кладбище места хватит всем. Он оказался прав. Незанятую землю нашли посередине кладбища, а еврейское население Дубровно после 1917 года и отмены «черты



То, что осталось от Дубровенского еврейского кладбища.

оседлости» стало сокращаться, а после Великой Отечественной войны и вовсе вернулось в местечко несколько десятков евреев. Кстати, в том споре раввина Авраама Рабунского поддержал Любавичский ребе: то ли он тоже был провидцем, то ли свою роль сыграла религиозная политика — хасиды имели огромное влияние в этих местах, но поддержать в споре почему-то надо было раввина общины миснагдимов. Так в Дубровно осталось одно еврейское кладбище.

На нем находились могилы Нирманов и Полиных — предков Юрия Аркадьевича. Кладбище существовало не менее трехсот лет. Последним дубровенским евреем, похороненным на этом кладбище, стал партийный работник 40-х годов Исаак Левертов. Это произошло в 1963 году.

Рядом находится Дубровенский сельскохозяйственный лицей. А на еврейском кладбище — заброшенном, смотревшемся, как укор послевоенному поколению, паслись коровы, сюда приходили любители выпить. Происходило то, что происходит с еврейскими кладбищами во многих бывших еврейских местечках, где после войны практически не оставалось еврейского

населения. В конце концов, в 80-е годы XX века кладбище решили снести, чтобы мертвые не мешали живым, и на его месте построить стадион сельскохозяйственного лица. Дубровенские евреи, люди старшего возраста, пытались протестовать, ходили с жалобами в райком партии, писали письма в газеты. Но кто к ним тогда прислушивался?

В один ненастный день надгробные памятники, вывернутые из земли, трактором сгребли в кучу. Они буквально, взывали людей отдать последний долг памяти ушедшим в мир иной. К таким бессловесным призывам многие остаются равнодушны.

Но в Дубровно все произошло по-другому. Директор лица кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Дмитриевич Евтушенко в 2001 году предложил учащимся собрать надгробные камни и установить их ровными рядами за футбольным полем, рядом с забором стадиона. Когда-то это была окраина кладбища. Ребята выполнили работу, в мастерских сделали ограждение (даже с магиндовидами), покрасили его.

Установлено свыше сорока мацейв, которые стали общим памятником евреям Дубровно. А учащиеся сельскохозяйственного лица получили самый лучший урок интернационального воспитания, доброты и гуманизма.

Мы встретились с директором лица, беседовали с ним.

— Не по-человечески это, когда мы забываем тех, кто жил до нас, родственники они наши или нет, одних кровей мы или разных, — сказал Михаил Дмитриевич Евтушенко. — Мы и дальше будем смотреть за этими памятниками. Может быть, найдутся родственники тех, кто здесь погребен, и они будут приходить на могилы.

...Отец и мать Юрия Аркадьевича Нирмана соблюдали все еврейские обычаи, традиции, отмечали еврейские праздники. Отец регулярно ходил в синагогу, а потом в молитвенный дом, хотя в тридцатые годы это не поощрялось властями.

— Я, конечно, смутно помню довоенное время, может, я об этом узнал из рассказов уже после войны, но на месте сегодняшнего городского стадиона, недалеко от берега Днепра,

раньше был «синагогальный двор» и находилась очень красивая высокая синагога, – рассказал мне Юрий Аркадьевич, когда мы проезжали по мосту через реку. – Синагога была уничтожена в годы войны. Наверное, в этом есть какая-то трагическая символика: синагога разделила участь дубровенских евреев – тех, кто приходил сюда молиться.

Отступление второе Религиозное

В Дубровно всегда ощущалось заметное влияние хасидов, хотя здесь же действовали общины миснагдимов, и никаких громких конфликтов в местечке между ними не было.

Заметное влияние на евреев Дубровно оказала подвижническая деятельность реб Иосефа – одного из ближайших учеников основоположника хасидизма Баал-Шема. В 1735 году реб Иосеф был впервые приведен к Баал-Шему, и через пятнадцать лет Баал-Шем дал реб Иосефу, который был тогда уже проповедником, первое практическое поручение. Реб Иосеф стал частым гостем в таких местечках, как Рудня, Колышки, Яновичи, Лиозно, Добромысли, Бабиновичи, Рассосна, Дубровно. Он жил здесь по месяцу, а иногда и больше, произносил в синагоге проповеди, которым, в первую очередь, начинали верить евреи неимущие, а таких было большинство, и исчезал, так же неожиданно, как и появлялся.

Да и географически Дубровно больше тяготеет к хасидизму. Оно находится недалеко от Лядов (в настоящее время деревня в составе Дубровенского района Витебской области). Ляды – родина ХАБАДа, здесь жил рабби Шнеур Залман, автор книг «Шулхан Арух Арав» – кодекса законов ХАБАДа, и «Тании», где речь идет о мировоззрении этого учения.

Недалеко находится и центр хасидского движения в XIX – начале XX века – Любавичи. Здесь был двор цадиков Шнеерсонов. Между Любавичами и Дубровно всегда существовала тесная связь. В 1859 году в Дубровно из Любавичей было переведено казенное училище 1-го разряда, в 1882 году преобразованное в одноклассное начальное еврейское училище,

в 1911 году – в 2-классное. В 1886 году при училище был открыт ремесленный класс со слесарным и столярно-токарным отделениями. 6758330

Связь между местечками прослеживается на примере многих семей. Рассказывает Зинаида Майзелис:

«Нашим предком был любавичский раввин Давид Якобсон. Его дочь Зелда родилась в Любавичах в 1873 году. Вышла замуж за Симона Майзелиса в 1895 году и уехала с ним жить в Дубровно.

Поначалу местные женщины сочли ее гордячкой потому, что она читала книги. В Дубровно замужние женщины проводили свой досуг так – они гуляли по центральной улице с вязанием в руках и судачили.

Но вскоре дочь уважаемого раввина завоевала всеобщее уважение, к ней, как и к Симону, обращались за советом по

Дубровно. Высокая синагога.

разным житейским вопросам. Он содержал небольшую лавочку, но семья росла, доход от торговли был невелик, и Симон стал коммивояжером, разъезжал по России, бывал в Сибири, возил образцы скобяных изделий. Так что домом, лавкой, воспитанием детей в основном занималась Зелда. У Майзелисов было семеро детей.



В начале 30-х годов, когда из местечек начался массовый отъезд молодежи в большие города, уехали в Ленинград дети Зелды и Симона, а вскоре и они сами перебрались туда».

Главной синагогой Дубровно была Высокая синагога или, как ее называли дубровенские евреи, «Ди гойхе шул».

«Она была построена в середине XVIII века и первый раз упомянута в 1777 году. Синагога находилась в центре Дубровно, недалеко от Днепра, на так называемом “синагогальном дворе”. Это было высокое деревянное зда-

ние, окруженное с трех сторон низкими пристройками... Весьма вероятно, что купол Высокой синагоги был расписан.

В 1913 году для общины Высокой синагоги стараниями Авраама Розановера был написан новый свиток Торы. Безусловно, это был большой праздник для всего местечка. Но событие не такое уж грандиозное, чтобы о нем вспоминать через сто лет. И не вспомнили бы, если бы не совсем обычная история появления свитка Торы.

Авраам Розановер — бывший солдат русской армии, который почти всю жизнь провел на службе и был женат на русской женщине. Однако под старость, как он признавался, ему начала



Внесение нового свитка Торы. Высокая синагога. Дубровно, 1913 г.

сниться мать, родное местечко. Многим под старость снятся такие сны. Но Авраам сделал для себя вывод: остаток дней он должен посвятить служению иудаизму. Оставил русскую жену и вернулся в родные места. Раввин Дубровно предписал ему “покаяние” – изготовление свитка Торы. Авраам собирал пожертвования у жителей Дубровно, и на эти деньги переписчик Исраэль-Зеев Хасин написал новый свиток.

...Шамесом (служкой) Высокой синагоги был Шмуэль-Реувен Дворкин. Его обычно называли Моня-шамес, и он славился знанием громадного количества различных напевов, проповедей, морализаторских книг и сказок. Согласно рассказу современника, вечером праздника Симхат-Тора он плясал в Высокой синагоге, держа бутылку 90-градусной наливки, радостно встречал молящихся и хвастался тем, что это уже третья бутылка и он пьет все еще без кидуша, как гой. Но при этом он никогда не бывал пьян. Это был благородный и талантливый еврей».

*«История семьи Леонида Невзлина»,
Аркадий Зельцер, Владимир Левин, Тель-Авив, 2012, с. 62*

В 1897 году в Дубровно проживало 4364 еврея, что составляло 54,72 процента от общего числа жителей.

Кроме уже упомянутой Высокой синагоги в местечке действовали хасидские и миснагдимские синагоги: «План», Большой Бейт-Мидраш, Средний Бейт-Мидраш, Штибл, молитвенные дома: Любавичский, Старосельский, мясников «Зов-хей Цедек», ремесленников «Поэль Цедек», реб Элизера, реб Натанэля, «Орлик», «Валцок», фабриканта талесов Зискинда Уринсона. На правом берегу Днепра, в Заречье, находились Зареченский Бейт-Мидраш, Новый Зареченский Бейт-Мидраш, работала иешива реб Шлома-Бера Певзнера. В эти годы было около двадцати синагог и молитвенных домов.

С 1895 года одним из раввинов в Дубровно был Шлойме-Залман Шейнкин, в начале XX века – Хаим-Шмуэль Лившиц. В 1912 году в местечке действовали шесть хедеров, в которых дети получали начальное религиозное образование.

Большевики не могли смириться с «религиозным влиянием на массы», — как говорили в те годы. Это противоречило большевистской идеологии, и как они считали, не только мешало людям строить светлое будущее, но и уводило их в сторону мракобесия. Кроме того, большевики полагали, что в доме должен быть один хозяин, поэтому они заявили, что «кто не с нами, тот против нас».

«Первым наиболее масштабным ударом большевиков по иудейским общинам Дубровно стала конфискация ценностей из синагог. Для этого в конце марта 1922 года Дубровенским волостным комитетом РКП(б) была организована комиссия из четырех человек. В нее вошли некто Федорцов, Трутко, Гринберг и Эпштейн (в документах тех лет часто указывались только фамилии). 4 апреля 1922 года они осмотрели все дубровенские синагоги.

*Государственный архив Витебской области (ГАВО), Ф. 10119-п.
— Оп. 1. — Д. 10. — Л. 5-об.*

Ценности обнаружили только в одной Старосельской синагоге. Это были «серебряная рука» (указка для чтения с наконечником в виде руки) — «яд», и корона, украшавшая свиток Торы — «кэтэр».

Через некоторое время после осмотра синагог в городе было проведено собрание евреев-рабочих фабрики «Днепровская мануфактура», а также состоялось выступление дубровенского раввина Хаима-Шмуэля Лившица. На этих собраниях было решено пожертвовать серебряные ценности из синагог голодающим Поволжья. При этом дубровенский раввин заявил, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь.

Изъятие выявленных ценностей было запланировано на май 1922 года. Придя в Старосельскую синагогу, члены упомянутой комиссии не обнаружили там виденных ранее вещей. «Рука» нашлась только на следующий день, а корона и того позже — через три недели. Комиссия заполучила ее только 5 июня. Во

всем был обвинен раввин Хаим-Шмуэль Лившиц – это он якобы прятал корону, не желая помочь советской власти.

ГАВО, Ф. 7-п. – Оп. 2а. – Д. 152. – Л. 15.

Конфисковывать из синагог было больше нечего. Но большевики не стали останавливаться на изъятии серебра из синагог. Теперь нужно было уничтожить еврейское религиозное образование.

На общем собрании, которое прошло 10 июля 1922 года, коммунисты Дубровно лаконично констатировали, что «с хедерами никакой борьбы не велось. Меламеды продолжают свои занятия в душных хедерах».

ГАВО, Ф. 10119-п. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 138-об.

Меры воздействия к поборникам религии новые власти часто находили в уголовном кодексе, приписывая людям преступления, которые они не совершали. Но евреи Дубровно еще долго сохраняли приверженность религиозному образованию: даже в 1927 году в городе действовало несколько хедеров и одна Талмуд-тора».

ГАВО, Ф. 10062-п. – Оп. 1. – Д. 372. – Л. 78.

*Константин Карпекин «Сохранили веру, несмотря ни на что...»
http://shtetle.co.il/Shtetls/dubrovno/dubrovno_syn.html*

Последние три синагоги в Дубровно были закрыты Советской властью в 1929 году. Хотя и после этого верующие евреи собирались в частных домах на молитвы, но делали это нелегально.

Довоенная жительница Дубровно Галина Райхман (Попова) вспоминает один из таких адресов – молились в доме Авцина.

Конечно, были люди, которые категорически отреклись от своего прошлого. Кто-то это сделал в силу убеждений, кто-то из-за боязни «как бы чего не случилось», как бы не навредить детям, но в большинстве семей – русских, белорусских, еврейских, традиции жили, несмотря на атеистическую пропаганду, подкрепленную административными мерами.

Отец Галины Райхман (Поповой) – Иосиф после службы в царской армии работал в Дубровно портным, затем служил участковым милиционером в Горках Могилевской области, в схватке с бандами получил сквозное ранение груди. После лечения вернулся в Дубровно, работал на фабрике «Днепровская мануфактура» ткачом. Жила семья бедно. Мама Галины пекла хлеб для магазина. Бабушка и дедушка купили детям сарай в деревне, а они построили из этих бревен дом. В конце 20-х годов дом был еще без крыши, и зимой в нем было холодно. Затем Иосифа Райхмана выдвинули на работу в фабком «Днепровской мануфактуры». В 1930 году его избрали председателем городского Совета Дубровно. Потом Райхман работал в партийных и государственных органах, был директором Орловичской МТС, председателем четырех сельских Советов Дубровенского района. Великую Отечественную войну встретил в должности заведующего торгового отдела Дубровенского райисполкома. Даже в такой семье отдавали должное религиозным праздникам, считая их национальными.

«В то время елки на Рождество ставили только русские семьи. Бобровницкие (хозяин дома работал начальником почты) приглашали детей на елку. Сама хозяйка дома приходила за нами. Я впервые увидела большую елку с игрушечной птицей наверху. Вся елка светилась огоньками, была увешана игрушками, – рассказывает Галина Райхман (Попова). – А когда были еврейские праздники, например Пейсах, нам с сестрой мама наполняла сумку мацей, и мы разносили ее всем соседям. Нас дружелюбно встречали».

Новое время, безусловно, вносило серьезные коррективы в жизнь людей. Недавно на Дубровенском льнозаводе делали ремонт, и в одном из старых корпусов, где в довоенные годы размещалась «Днепровская мануфактура» (о ней мы еще поговорим), нашли обрывки старой газеты за 1932 год на языке идише. Скорее всего, это вкладыш к витебской областной газете, который выходил в те годы на еврейском языке.

Руководство Дубровенского льнозавода, которое собирается делать музей предприятия, обрадовалось находке и отправило текст статьи для перевода в Санкт-Петербург Юрию

Нирману. Из Санкт-Петербурга текст ушел в Израиль, где в Иерусалиме с помощью Аркадия Зельцера был сделан перевод. Потом этот текст попал ко мне. Восемьдесят лет назад в Дубровно было немало подписчиков витебской областной газеты, а теперь находка облетела полсвета, чтобы вернуться в родные места с переводом заметки на русский язык.

Статья называется «Создать необходимые условия для развития кролиководства».

Заметим, что мясо кролика, так же, как и мясо свиньи, о котором тоже пойдет речь в статье, считается некошерным. Развитием именно этих отраслей хозяйства были озадачены работники «Днепровской мануфактуры».

«Неразвитость кролиководства стоит сейчас в центре внимания партийной и профсоюзной организации. Широкое развитие выращивания кроликов означает создание новых ресурсов для обеспечения рабочих и работниц хорошим и вкусным мясом и улучшения их материального положения.

Фабрика «Днепровская мануфактура» включилась в сталинский марш улучшения обеспечения рабочих, наметив организацию кроличьего пункта на сто кроликов. Но пока их куплено всего четыре. Но хуже то, что администрация фабрики не думает о создании необходимых условий для выращивания кроликов.

Директор фабрики тов. Каплан сказал: «Ведь для кроликов необходимо будет строить помещение». Такое отношение к вопросу неправильно. Кроме помещения нет на «Днепровской мануфактуре» ни одного человека, который бы ухаживал за кроликами.

Большое значение для улучшения обеспечения рабочих имеет вопрос о разведении свиней. По плану намечено расширение свинофермы до 150 голов, на сегодняшний день на ней находится сорок свиней и двадцать свиноматок, которые отобраны для расширения свиноводства.

Но и здесь имеются большие помехи. Снова нет подходящего помещения.

Подобное происходит и с разведением птицеводства. По плану намечено расширение до 300 голов, из которых имеется только 15 голов и нет подходящего помещения.

Администрация фабрики должна срочно принять меры для подготовки необходимых помещений для развития кроликов, свиней и птицы, что даст мощный толчок для улучшения общественного воспитания и обеспечения рабочих. Должен быть мобилизован весь рабочий коллектив на выполнение намеченных планов сталинского марша.

Бригада: Х. Злотник, Ц. Локшина, М. Земковский, З. Релина, Х. Винц».

...Конечно же, Дубровно, чем-то напоминая другие местечки «черты оседлости», все же выделялось в этом ряду образованностью жителей, если хотите – даже их интеллигентностью. В этом одна из причин того, что здесь появилось на свет немало личностей, оставивших заметный след в истории.

В 1802 году в Дубровно начала работать типография – одна из первых в Беларуси.

«В еврейской среде культивировалось особенно трепетное отношение к книге, как к подлинному богатству, средству распространения знаний. Зажиточность семьи определялась не только по наличию материального достатка (деньги, недвижимость и т.д.), но и по состоянию личной библиотеки главы дома».

О.А. Соболевская, «Повседневная жизнь евреев Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX века», монография, Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, 2012 г., с. 123

В Дубровно в 1863 году родился один из самых последовательных лидеров сионизма Аврахам Менахем Мендл Усышкин. Его отец, оставаясь хасидом из Дубровно, стал купцом первой гильдии и получил право на жительство в Москве, куда и перевез семью в 1871 году. Наступало новое время, и умные люди понимали, что самое важное для детей – учеба. Менахем Усышкин окончил одно из самых престижных учебных заведений России – Московское высшее техническое училище с дипломом инженера-технолога. Но его тянуло в политику, он ставил своей целью – улучшить жизнь евреев, и видел это в обретении национального очага. Усышкин выступал одним из самых энергичных сторонников заселения и освоения Эрец-Исраэля.

С начала 20-х годов XX века Усышкин постоянно живет в Иерусалиме, занимается покупкой земли для евреев-первопроходцев. Ничего удивительного, что в 1924 году его выбрали председателем комитета директоров «Керен-Каемент ле-Исраэль» — фонда, который занимался покупкой земли в Палестине на деньги, собранные в еврейских общинах всего мира (он занимал этот пост до конца жизни). Усышкин помог в 1925 году купить землю на горе Скопус — для еврейского университета в Иерусалиме. Будучи членом административного совета университета, не жалел сил и на этом поприще.

Менахем Усышкин скончался в 1941 году в Иерусалиме, первым связав маленький город на Днепре и вечный Иерусалим. В биографии Менахема Усышкина эти названия пишутся через черточку, как места рождения и смерти.

16 февраля 1875 года в Дубровно в семье Павла Тумаркина и Софии (урожденной Герценштейн) родилась девочка Анна-Эстер. Пройдет несколько десятилетий, и Анна-Эстер Тумаркина станет первой женщиной в Европе — доктором философии, профессором Бернского университета в Швейцарии.

К сожалению, в Дубровно не нашлось улиц, которые можно было бы назвать в честь Тумаркиной или пионера израильского кино, оператора, сценариста, режиссера Натана Аксельрода, родившегося в 1905 году в Дубровно и скончавшегося в 1987 году в Тель-Авиве. Но, надеюсь, о них вспомнят в экспозиции районного краеведческого музея. Так же, как вспомнят и об Осипе Давидовиче Лурье, который родился в Дубровно в 1868 году. В 1892 году он переехал в Париж, где получил французское гражданство за заслуги в развитии науки и литературы. Осип Давидович — публицист, доктор философии Парижского университета.

Для полноты картины хотелось бы вспомнить о Цви Цейтлине — известнейшем американском скрипаче и музыкальном педагоге, который родился в Дубровно в 1923 году, и исследователе еврейской литературы, докторе философских наук, профессоре Залмане Либензоне. Он родился в Дубровно в 1918 году, здесь окончил еврейскую школу и школу рабочей молодежи.

И, безусловно, отдельный рассказ о дубровенских евреях Поляковых. В историю банковского и промышленного дела России навсегда вписаны имена братьев Поляковых – Якова, Самуила и Лазаря. Они происходили из небогатой семьи дубровенского еврея Соломона Полякова.

Старший брат – Яков родился в Дубровно в 1832 году и прожил 77 лет. Сначала он занимался винокурением, а с 1860-х годов – банковским делом. Совместно с братьями строил железные дороги, учредил Азовско-Донской коммерческий, Донской земельный и другие банки. В 1890 году Яков получил концессию на устройство Ссудного общества в Персии, которое в 1894 году было приобретено Государственным банком и позднее преобразовано в Учетно-ссудный банк Персии.

Яков Поляков пожертвовал много денег на благотворительные цели в городе Таганроге, и его приписали в дворяне области Войска Донского, правда, с единственным условием – никому об этом не сообщать. Все же – еврей! Но уж очень хотелось тем, кто его приписывал, приобщиться к деньгам Полякова.

Средний брат – Самуил родился в Дубровно в 1837 году и прожил 51 год. Был основателем и членом правлений многих акционерных банков – Московского и Донского земельных, Санкт-Петербургского-Московского, Азовско-Донского и других.

Самуил Поляков являлся очень колоритной фигурой. Сравнительно небогатый человек, содержатель почтовой станции в имении графа Толстого, он еще в 1850-х годах положил начало своему состоянию строительством шоссейных дорог для почтового ведомства. А потом составил состояние, построив Курско-Харьковскую, Харьковско-Азовскую, Орловско-Грязскую, Фастовскую и Бендеро-Галицкую железные дороги.

На его деньги в России основывали училища, гимназии, приюты для бедных детей, госпитали и театры, построили в Петербурге первое в России общежитие для студентов университета, где получали бесплатно жилье и еду. Оставленное Самуилом Поляковым наследство оценивалось более чем в 16 миллионов рублей.

Наибольшую известность среди братьев приобрел младший – Лазарь. Родился он в 1842 году, правда, не в Дубровно, а по соседству – в Орше. В неполных тридцать лет стал московским купцом первой гильдии. Вскоре основал банкирский дом «Л. Поляков», создал один из крупнейших в России банковско-промышленных концернов. Значительные средства выделял Лазарь Поляков на Румянцевский музей и на создание в Москве Музея изящных искусств. Им были учреждены стипендии во многих московских высших учебных заведениях.

В Дубровно Лазарь Поляков принял участие в организации акционерного общества «Дубровенская мануфактура». Местные ткачи-кустари, разорившиеся от притока на рынок фабричной продукции из Москвы и Польши и получившие работу в этом акционерном обществе, считали его своим покровителем.

В январе 1914 года в Москве состоялись одни из самых пышных и торжественных похорон за всю историю города. Гроб с телом покойного был доставлен из Парижа, где смерть застигла его в момент переговоров с финансовыми партнерами. Около шестидесяти серебряных венков от предпринимательских и общественных организаций было возложено на могилу.

Одна пикантная подробность из жизни Лазаря Полякова. Великая танцовщица Анна Павлова была его дочерью от женщины, с которой он не состоял в официальном браке. Балерина разрешила огласить это только после ее смерти.

...Образно говоря, все железные дороги и, частично, шоссе, в России ведут в Дубровно – город, в котором нет ни железнодорожной станции, ни вокзала. Ближайшая железнодорожная станция Осиновка находится в восьми километрах.

Отступление третье Производственное

Ткачество было основным занятием местного еврейства еще с XVIII столетия.

«В 1811 году для ревизии текстильной промышленности в путешествие по наиболее перспективным для развития этой отрасли губерниям был отправлен сенатор Аршеневский.

Сенатор побывал в губернском городе Витебске, где увлек своим проектом по развитию текстильной промышленности группу наиболее богатых евреев. Те основали несколько фабрик, создав компании или в одиночку, а рабочими на их мануфактурах стали единоверцы-бедняки.

...Во время своей поездки Аршеневский посетил имеющиеся суконные фабрики, принадлежавшие евреям Могилева (Хонона Кроля и Исера Лурье), а в Витебске, Шклове и Дубровне нашел иудеев, готовых заняться суконным бизнесом при условии получения обещанного правительством пособия. Многие проекты действительно реализовались, стоит хотя бы заметить, что талесному производству в местечке Дубровна положил начало именно визит Аршеневского.

...Лидером в производстве еврейских молитвенных покрывал (талесов) было местечко Дубровна в Оршанском уезде Могилевской губернии, где располагалась крупнейшая фабрика Ш.Е. Еселеона и Н.А. Гинзбурга. В 1818 году здесь на 25 станках под руководством мастера-иностранца трудились 194 рабочих. Продукция сбывалась на территории всей черты еврейской оседлости. Несколько отставала от данной фабрики по масштабам мануфактура Ш. Ельсона, которая находилась в селе Путятине того же уезда. Здесь на 4 станах работали 54 человека.

В 1824 году ...шло увеличение числа еврейских талесных фабрик. К дубровенским мануфактурам, в число которых вошла новая (владелец Е. Есин), присоединились мстиславские (хозяева И. Лурье и Н. Гинзбург).

В 50-е годы XIX века ...талесные фабрики, спрос на продукцию которых был устойчив, продолжают свое существование в Мстиславле и Дубровне, более того, теперь их уже не пять, а семь. Правда, практически все они поменяли своих хозяев, из знакомых нам старожилов остался лишь Н.А. Гинзбург в местечке Дубровна.

На этих мануфактурах трудились еврейские рабочие, их число колебалось от 18 до 30 человек».

О.А. Соболевская, «Повседневная жизнь евреев Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX века», монография, Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, 2012 г.

Талесы местного производства пользовались спросом во всей Российской империи, экспортировались в США. Но ткачи-кустари бедствовали.

«Хуже всего положение ткачей, вырабатывающих талесы (молитвенное одеяние из шерсти). Эти несчастные находятся в настоящей крепостной зависимости от трех или четырех скупщиков, снабжающих ткачей материалом. Семья кустика-ткача талесов из пяти-шести человек зарабатывает в Дубровно (Могилевской губернии) иногда 1½–2 рубля в неделю и принуждена питаться хлебом, покупаемым у нищих, и водой, занимающиеся отделыванием талесов получают от 1 до 2 рублей в неделю. Больше зарабатывают (3–5 рублей в неделю) так называемые мойщики талесов, но они живут в ужасающей, пропитанной запахом серы, атмосфере. Летом к их жилищу невозможно подойти, так как всякий свежий человек начинает задыхаться от вони и серы.

...В конечном итоге ремесленники-евреи Белоруссии хронически голодают и хронически же сидят без работы, несмотря на то, что маляры и каменщики зимой превращаются в извозчиков, штукатуры зимой занимаются починкой галош, кирпичники превращаются в трепальщиков льна, портные в огородников. Как живут ремесленники в маленьких местечках, видно из следующего характерного описания житья токарей в м. Дубровно: "...токарей в местечке два. Один из них умирает с голода семь раз в неделю, а другой, чтобы не подвергнуться той же участи, служит в погребальном братстве гробовщиком, а жена печет хлеб".

Для сравнения: на "плужных" заводах кузнецы и слесари вырабатывают теперь от 3 до 6 рублей в неделю при непрерывном 12-часовом рабочем дне, в местечках же на тех же заводах

рабочий день длится 14-15 часов, и подмастерье-кузнец вырабатывает только 4 рубля в неделю, мастер несколько больше.

Заработок сапожника-мастера в Белоруссии колеблется между 3 и 6 рублями в неделю.

За дюжину чулок мастерица получает 28 копеек, и при 15-часовом рабочем дне она еле вырабатывает от 2 до 3 рублей в неделю».

Л. Неманов, «Экономическое положение еврейского пролетариата в России», изд. Н. Парамонова, «Донская речь», Ростов-на-Дону, с. 24–26.

В 1897 году в Дубровно ткачеством занималось около 300 семей, свыше 500 работников. Сложились династии потомственных ткачей.

Там, где были бедные наемные работники, естественно, встречались люди и побогаче, которые достигли своего положения благодаря предприимчивости, образованности, умению вести дела, большой энергии, а иногда и связей, о которых не принято говорить во всеуслышание. Эта история такая же вечная, как мир.

«Моя мама из зажиточной семьи, — вспоминала Ревекка Григорьевна Алеева (Каган). — У нее было библейское имя — Мирьям. А дома ее все называли Мира, Мирочка.

Мой дедушка Фроим Каданер был очень религиозный человек. И даже его дело было связано с религией. Во дворе дедушкиного дома была небольшая мастерская по производству талесов. В нашей семье ее называли — фабрикой. Так нравилось дедушке. В организацию этого дела, в налаживание производства Фроим Каданер вложил много сил. У него работало четыре наемных работника. Дедушкина “фабрика” существовала еще до “Днепровской мануфактуры”. Большое производство не поглотило маленькую мастерскую. У дедушки оставались заказы. Иногда он уезжал в Кенигсберг, где заключал договора на поставку талесов.

Бабушка Бейла-Фейга занималась воспитанием детей, а их было у Каданеров девять душ (три мальчика и шесть девочек),

хлопотала по хозяйству и управлялась в маленькой лавочке, которая была при доме. Здесь продавались те же талесы. Но уже не оптом, а в розницу.

В 52 года у Фроима Каданера случился инсульт, или, как тогда говорили, “приключился удар”, его парализовало, и 15 лет он пролежал, прикованный к постели, лишился речи. Бабушка смотрела за ним, не нанимая сиделки. Она переодевала, кормила, мыла его. И даже закручивала по всем правилам ремешки тфилина на руке и на голове, чтобы он мог молиться.

Недалеко от дедушкиного дома находилась еврейская богадельня. Дедушка, а потом и бабушка обязательно делали взнос в пользу бедных, одиноких и больных. У Каданеров была большая семья. Но каждый день к обеду обязательно приходило несколько человек из богадельни. И за столом была маленькая еврейская свадьба».

Благодаря финансовой помощи Еврейского колониционного общества (филантропическая организация, основана в сентябре 1891 года в Лондоне бароном М. де Гиршем для содействия колонизации Аргентины евреями-эмигрантами из России и Восточной Европы), меценатам барону Гинцбургу, И.А. Вавельбергу и А.Г. Розенблюму в Дубровно появилась фабрика, устав которой был утвержден в 1900 году.

«В 1899 году, когда было объявлено, что в Дубровно будет строиться ткацкая фабрика, в самой большой в Дубровно – Высокой синагоге было устроено многолюдное торжество. После молитвы за благоденствие царской семьи, речей о значении будущей фабрики и благословения меценатам, играл оркестр, и ткачи, и рабочие плясали и веселились до часу ночи».

*«История семьи Леонида Невзлина»,
Аркадий Зельцер, Владимир Левин, Тель-Авив, 2012, с. 96.*

А в 1902–1903 годах стало работать акционерное общество «Днепровская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура» – самое крупное предприятие в России, выпускающее талесы.

Так в начале XX столетия появилась первая фабрика с исключительно еврейскими рабочими и обязательным субботним

отдыхом. Выходными днями объявлялись также еврейские праздники. А к Песаху и Пуриму работники мануфактуры получали подарки.

Новая организация производства быстро продемонстрировала свою эффективность.

«К началу 1904 года на фабрике числилось около 400 рабочих при наличии 168 станков, средняя заработная плата составляла 9 рублей 71 копейку. В 1908 году на фабрике было занято 559 рабочих, станков – 323, а средняя зарплата достигла 17 рублей 24 копеек. За 1907 год на фабрике было произведено 2009555 аршинов ткани. В 1910 году основной капитал составил 1020 тысяч рублей. При фабрике было потребительское общество, начальное двухклассное училище.

До 1910 года управляющим «Днепровской мануфактуры» был Семен Герасимович Розенблюм, архив которого был передан в Витебский областной краеведческий музей его дочерью Бокгольд Софьей Семеновной в 1990 году.

Семен Герасимович родился в 1868 году, окончил гимназию в Москве и продолжил образование в Берлине в Высшем техническом училище на строительном факультете. Семен Розенблюм пользовался авторитетом среди рабочих и служащих фабрики. При его участии было организовано кооперативное ссудо-сберегательное товарищество для обслуживания кустарей и трудящихся, фабричная добровольная пожарная дружина, общественные благоустроенные бани, фабричный оркестр, библиотека.

Розенблюм С.Г. был автором брошюры «Дело о погроме в Орше». Свидетелем этого погрома был он сам.

После 1910 года Семен Герасимович Розенблюм жил в Москве, где продолжал заниматься строительными делами. В 1924 году он участвовал в строительстве временного мавзолея В.И. Ленина, затем заведовал типографией, кирпичным заводом. Скончался Семен Герасимович в 1936 году от инфаркта».

*«Мишпоха», № 4, 1998 г., Инна Абрамова
«Днепровская мануфактура», с. 15.*

Вот такая необычная для местечка личность жила в Дубровно в начале XX века.

В 1910 году для рабочих «Днепровской мануфактуры» была открыта библиотека. Какие же издания их интересовали?

«Совет Кассы взаимопомощи рабочих при фабрике “Днепровская мануфактура”, на которой работают исключительно евреи, организовав в августе сего года библиотеку для рабочих, ощущает сильную потребность в снабжении этой рабочей библиотеки книгами или журналами по истории евреев. Заработок рабочих очень ограничен, и средства кассы, вследствие бывшей после Пасхи забастовки, крайне незначительны вообще. Культурный фонд ее, куда относится содержание библиотеки, вследствие необходимости субсидировать двум училищам – мужскому и женскому и одному образовательному хедеру, где обучаются дети рабочих, не в состоянии уделять средства библиотеке. Совет Кассы обращается к Вам с покорнейшей просьбой предоставить библиотеке рабочих-евреев хотя бы один экземпляр издаваемого Вами журнала “Еврейская старина” бесплатно или на самых льготных условиях, как, например, возмещение почтовых расходов.

Среди нас, еврейских рабочих, имеются такие, которые с большой жадой прочли журнал “Еврейская старина” за 1909 и 1910 гг.

Председатель Совета И. Зильберборд

Члены М. Дымшиц, Б. Райцын... (всего 6 подписей)».

Анатолий Хаеш, «С большой жадой прочли...» Из писем 1909–1912 годов в «Еврейскую старину», <http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer7/Haesh1.htm>

Во время Великой Отечественной войны «Днепровская мануфактура» была эвакуирована в Барнаул. После войны на территории фабрики начал работать «Дубровенский льнозавод», а старые корпуса «Днепровской мануфактуры» сохранились до сих пор, и на кирпичном здании водонасосной станции, как напоминание о прошлых годах, висит кованый магиндовид.

На «Днепровской мануфактуре» работали крепкие ребята, которые не давали себя в обиду и приходили на помощь тем, кто в ней нуждался. Когда в соседней Орше 21–22 октября

1905 года произошёл еврейский погром, на помощь соплеменникам отправился отряд самообороны из Дубровно.

«22 октября на двух лодках по Днепру отправились из Дубровно в Оршу 23 молодых ткача – 21 еврей и 2 православных. Вооружившись револьверами, они полагали, что с помощью

оружия смогут остановить распоясавшихся хулиганов. Однако их опередили. И когда представители самообороны прибыли, здесь их уже поджидала толпа в несколько сотен человек. Юноши даже не успели пустить в ход оружие, как были вначале зверски избиты, а затем и добиты камнями и топорами».

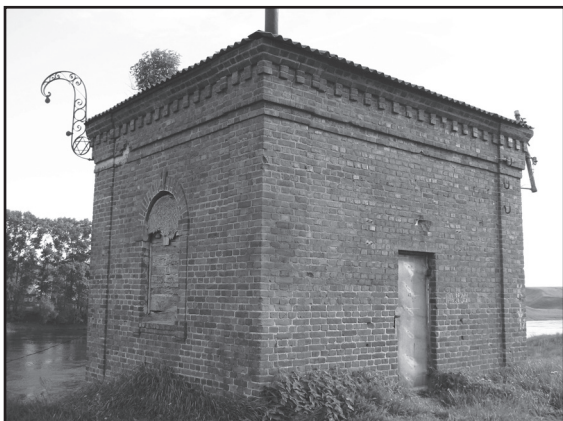
*«Мишпоха», № 1, 1995 г., Аркадий Подлипский
«Оршанский погром 1905 года.», с. 70.*

«Днепровская мануфактура» со дня своего основания и до начала Великой Отечественной войны, применяя сегодняшнюю терминологию, была градообразующим предприятием. И все дубровенские старожилы, с которыми мне довелось беседовать, непременно говорили, что их родители или родственники работали на этой фабрике.

Здесь начинал свою трудовую деятельность генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, Герой Социалистического Труда Абрам Быховский.

Абрам Исаевич родился в Дубровно в семье ремесленника. Трудовую деятельность начал в 16 лет. В 1927 году окончил Московский химико-технологический институт. В марте

Водонасосная станция фабрики «Днепровская мануфактура». На кронштейне виден кованный магиндовид.



1939 он получил назначение – директором Пермского машиностроительного завода Наркомата вооружения СССР (Мотовилихинский завод). Абрам Исаевич возглавил перестройку завода на военную продукцию.

Во время войны разработка и производство артиллерийских систем на заводе приобрели грандиозные масштабы. С 1941 по 1945 год на предприятии освоены в серийном производстве восемь артиллерийских систем. Выпущено 48 600 артиллерийских орудий – около одной трети всех орудий, выпущенных промышленностью СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 года за выдающиеся заслуги в деле организации производства, освоение новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руководство заводом Быховскому Абраму Исаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1955 году вышел в отставку, жил в Москве, где 22 ноября 1972 скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Райхман Самуил Беньяминович родился в Дубровно в 1919 году. Учился, работал. С 1939 года в Красной Армии. Воевал в финскую кампанию. С сентября 1941 года – на фронте Великой Отечественной. Политрук пулеметной роты станковых пулеметов. Неоднократно ранен. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», другими боевыми и юбилейными медалями. В 1955 году Самуила Райхмана уволили из армии в запас в звании майора.

«Отец, Райхман Беньямин, 1887 года рождения, участник Первой мировой войны, кавалерист, на фронте был ранен. Мать, Райхман Хая-Щера, во время Гражданской войны, когда мне было полтора года, умерла. Отец женился второй раз. Мачеха, Перлина Хана, была тоже из религиозной семьи, – делился воспоминаниями Самуил Беньяминович. – Отец работал на фабрике “Днепровская мануфактура”. Его брат, Райхман Илья, тоже работал на этой фабрике мастером. Я учился в еврейской школе.

В начале тридцатых годов, когда организовалась Еврейская автономная область, мы поехали в Биробиджан. Пожили там несколько лет и вернулись в Дубровно. Отец снова пошел работать на фабрику “Днепровская мануфактура”, мачеха была там же бухгалтером, и брат Илья работал на фабрике...

Мою семью расстреляли фашисты в декабре 1941 года. Об этом я узнал из письма, которое получил из Дубровенского райкома партии 8 марта 1945 года. После окончания войны я приехал на могилу моей семьи. Страшно было смотреть на разрушенный город».

Жизнь разбросала потомков дубровенских ткачей по всему миру. Дмитрий Посутман живет в России в городе Саранске:

«Ремеслом моего прадеда Моисея Вениаминовича Посутмана было изготовление талесов. А все свободное время он отдавал Дубровенской добровольной городской пожарной команде, в которой служил. У прадеда было пятеро дочерей, сестер моего деда Бени. По вечерам для молодежи устраивались посиделки с музыкой и песнями.

Брат Моисея Вениаминовича участвовал в отрядах еврейской самообороны. Во время Оршанского погрома 1905 года оказал вооруженное сопротивление погромщикам. Остался в живых, хотя многие тогда погибли. После этого он с товарищами был вынужден скрываться от полиции, а потом – бежать в США.

После Октябрьской революции, в голодные годы, брат Моисея Вениаминовича отправлял продовольственные посылки от имени еврейской общины Нью-Йорка жителям Дубровно».

Исаак Гуревич, несмотря на почтенный возраст, работает врачом и является руководителем Оршанской городской еврейской общины.

«Я родился в Дубровно в 1935 году, – рассказывает Исаак Ефимович. – В религиозной семье. Мама соблюдала кошрут, в семье отмечали еврейские праздники. Мой дедушка, мамин отец, был синагогальным старостой. Жили на улице Крылова. Синагога или, молитвенный дом находился на этой же улице. Деда звали Иче реб Ицхок. Меня называли Исааком в честь его. Фамилия у дедушки редкая – Балбирер.

Он работал на «Днепровской мануфактуре». Друзья, знакомые называли деда Иче дер Вассер. В то время в местечках у всех были прозвища. Деда прозвали так, потому что он мыл эти талесы. Это был финальный этап производства.

У Балбиреров была большая семья. Впрочем, в те годы в местечке это было нормой. Мою маму звали Клара Исааковна. Она была ткачихой. До войны тоже работала на «Днепровской мануфактуре», после войны в Орше – на льнокомбинате. В семье было два брата – Илья и Борис. Они погибли на фронте.

Отец Хаим Гуревич тоже работал на «Днепровской мануфактуре» столяром. После войны был бригадиром столяров на Оршанском льнокомбинате.

В 1946 году мы вернулись в Дубровно из Барнаула. Нам сообщили, что наш дом уцелел. Он, кстати, и сейчас стоит. Отец сначала работал столяром на дому. «Дубровенскую мануфактуру» не восстановили. Это сейчас в Дубровно большой льнозавод. А тогда работать негде было. Многие дубровенские евреи, работавшие до войны на фабрике, переехали в Оршу, пошли работать на льнокомбинат. Так что с 1947 года наша семья живет в Орше».

Судьбы людей, работавших на «Днепровской мануфактуре», – это и есть история некогда знаменитого предприятия.

Дора Захаровна Фрадкина после института работала провизором. Сейчас на пенсии, ведет программу в Оршанском еврейском общинном доме.

«Папа 1910 года рождения, прошел всю войну солдатом, встретил Победу в Праге. Но тяжелое ранение – пуля в легком – давало о себе знать. И 41-летним, в 1951 году, Залман Абрамович Фрадкин умер, – рассказывает Дора Захаровна. – В Дубровно у нас было много родственников. У мамы – четыре сестры. Их отец, мой дедушка Соломон Стулин, был коммунистом, секретарем партячейки. В годы Гражданской войны его кто-то предал. Семью расстреляли. Детей Стулины спрятали в подвале. Маминой старшей сестре был десять лет. Дети остались одни, и соседи их взяли на воспитание.

Мама до войны работала на «Днепровской мануфактуре». Ее сестра Хая работала там же в столовой, были еще две сестры Вера и Хава».

Фрадкины перебрались в Оршу из Дубровно после смерти отца в 1951 году.

В журнале «Мишпоха», который издается в Витебске, было опубликовано несколько статей о «Днепровской мануфактуре». Прочитав их, в редакцию написала Ася Иткин, живущая в Израиле в городе Хайфе. Династия Зельманов многие годы работала на этом производстве.

«Наш дедушка Зильман Симон (Шимон) родился приблизительно в 1869 или 1870 году и до 1941 года работал ткачом на фабрике. В начале Великой Отечественной войны мне было двенадцать лет. Я хорошо помню дедушку. Он был очень верующим евреем, добрым, честным, милым человеком.

Дедушка приехал к нам в гости в Могилев 10 июня 1941 года – на день рождения моего младшего брата Аркадия (Айзика). Война застала его у нас. Дедушка, как патриот фабрики, не хотел оставаться в Могилеве, или уезжать на восток. Мы, трое детей с мамой, эвакуировались, а дедушка вернулся в Дубровно на фабрику. В этом местечке его расстреляли немцы.

У дедушки было три сына. Старший – мой отец Лейбе, работал до самой войны лекальщиком в Могилеве на швейной фабрике им. Володарского. Погиб на фронте.

Второй сын – Ирма, работал в Дубровно на «Днепровской мануфактуре». По рассказам старожилов, когда фашисты захватили Дубровно, он ушел в партизанский отряд. До сих пор мы ничего не знаем о его последних днях. Семья Ирмы: шесть дочерей, десятидневный сын и жена – была расстреляна немцами.

На «Днепровской мануфактуре» работал наш дядя Петя (Пейше). Во время войны с Финляндией его забрали в армию, и мы даже получили извещение, что он погиб. И вот в 1940 году он вернулся с фронта раненый. У бабушки от радости случился сердечный приступ, и она умерла. В начале Великой Отечественной войны дядю Петю снова взяли на фронт. Израненный, он вернулся в Дубровно и узнал страшную весть, что вся семья: жена и трое детей, погибли.

Тетя Мэра Зильман тоже работала на “Днепровской мануфактуре”, вышла замуж. Муж ее, Фрумкин Минай, был редактором газеты “Днепровская правда”. До войны они жили в Орше».

*«Мишпоха», № 8, 2000 г., Ася Иткин,
“Из редакционной почты”, с. 99.*

Безусловно, всякое случалось у соседей: бывало, ссорились, даже враждовали и могли друг другу сказать обидные слова, которые камнем лежали на душе долгие годы. Но по воспоминаниям людей, молодость которых пришлась на тридцатые годы, серьезных конфликтов на национальной почве в Дубровно не возникало. Хотя было гонение на религию, закрывались еврейские школы. Может, молодость всегда вспоминается, как радостное, прекрасное время?

«Городок в моей памяти остался молодежным, культурным, — вспоминает Галина Райхман (Попова). — Был очень красивый парк. В городе работали две школы: белорусская и еврейская. Здание еврейской школы было двухэтажное деревянное.

Учащиеся еврейской средней школы. Выпускной вечер у этих ребят состоялся 17 июня 1941 года.





Пионерский лагерь. Нижние и верхние ряды – бывшие ученики Дубровенской еврейской школы. 1939 г.

Еврейская школа работала до 1937 года. Я училась в шестом классе. Затем она стала белорусской, а в последние предвоенные годы ее сделали русской школой. 17 июня 1941 года мои одноклассники, которые начали учиться в еврейской школе в 1931 году, окончили выпускной класс. Я очень любила школу, друзей и учителей. Это самые счастливые, дорогие моему сердцу воспоминания. У нас был очень дружный класс. Каждый выходной мы собирались в чьем-то доме, играл патефон, и мы всем классом устраивали танцы, дружно ходили в кино, в парк, на танцплощадку... Кино показывали в здании бывшего костела. Там была “галерка” – так мы ее называли. Туда были билеты подешевле, и мы шли на балкон. Кинотеатр в годы войны взорвали. Рядом было здание монастыря. В нем до войны был рабфак, после – русская школа № 2. Я помню довоенных учителей, директоров школы Хазанович, Фишмана. У Хазанович был муж Осинский – работник райкома, его арестовали в конце 30-х годов, потом освободили, он вернулся очень больным человеком.

Были любимые учителя: Гозданкер – преподавал русский язык и литературу (его родной брат был летчиком); Анна Филипповна – химию, Стесин Николай Иванович – белорусский язык и литературу, Фишман – географию.

...В классе были все евреи, в 9-м классе к нам в класс пришли два русских ученика: Сапега и Дубов. Обстановка в классе была очень дружная, национальный вопрос никогда не поднимался».

Мама Ревекки Григорьевны Каган (Алеевой) из Дубровно. Ревекка Каган прожила нелегкую жизнь. В 1941 году под бомбежками ушла на восток из местечка Горки Могилевской области, в эвакуации в Узбекистане работала санитаркой в военных госпиталях. Сумела окончить институт иностранных языков, в котором начинала учиться еще до войны. Работала переводчицей в Берлине в Контрольном совете, куда входили представители четырех стран-победителей, имела непосредственное отношение к знаменитому Нюрнбергскому процессу над фашистскими преступниками, потом преподавала английский язык в школе, в институте. И всегда в самые трудные моменты своей жизни вспоминала мамино местечко, и это, как она призналась, помогало:

«Шел 1918 год. Мой дед Фроим Каданер, очень религиозный человек, не хотел, чтобы его младшие дети учились в гимназии в Дубровно, “До чего они там додумались! Решили сделать субботу учебным днем. Никому не надо такое просвещение, если оно идет вразрез с нашими традициями, – считал он. – Другое дело – в Лядах. Там и в домах, и в гимназии чтят субботу”. И хоть его дети будут жить не под отцовской крышей, а снимать комнату у чужих людей, зато ученье пойдет им на пользу, а не во вред. Они вырастут настоящими евреями. И дедушка отправил младших детей на пароходике, который плавал по судоходной в те годы речке Мерее в Ляды. А присматривать за младшими братьями было поручено моей маме. В Ляды они приехали под вечер. Узнали, где можно переночевать, и отправились в гостиницу.

Дверь им открыл молодой человек с книжкой и лампой в руках. Это был мой отец, который после окончания Высших учительских курсов в Харькове работал учителем в Лядах.

...Назавтра, когда папа и мама шли из гостиницы в гимназию, мальчишки, игравшие во дворе, стали кричать: “А хосун мит а кале”. (“Жених с невестой” – идиш). Назавтра мама уехала домой в Дубровно. А папа стал писать ей письма. Писал каждый день письма в стихах. К сожалению, они не сохранились. Когда у папы был выходной, он приезжал в гости, а иногда и приходил пешком в Дубровно.

...Мы жили в Горках и часто приезжали в гости в Дубровно. Помню, садились в Орше на пароход и плыли по Днепру до Дубровно. С парохода я видела дедушкин дом, я видела бабушку, которая стояла на крыльце и ждала нас. Прошло столько лет, а я до сих пор помню эти счастливые мгновения».

...В Дубровно мы приехали на улицу Крылова, где до войны жила семья Нирманов. Тихая, по-осеннему умиротворенная улочка со следами мощеной мостовой. Вокруг домов палисадники с цветами. На лавках дремлют, греясь на солнышке, коты. По-хозяйски разгуливают куры.

Юрий Аркадьевич показал фундамент, на котором стоял дом Нирманов. Фундамент остался довоенный, он больше по своим размерам, чем надо для нынешнего дома, обшитого сайдингом. В нем живут люди, которые вряд ли знают историю этого места, историю дома.

Юрий Аркадьевич продолжил свой рассказ:

– Как рассказывала мне мама, никто не верил, что война будет такой жестокой и длительной, все были уверены – Красная армия всех сильнее, воевать будем на чужой территории, а не на территории Советского Союза, и что даже, если немцы придут, ничего плохого мирным жителям они не сделают.

Когда началась война и немцы стали быстро продвигаться вглубь страны, отец был призван в народное ополчение. А меня, маму, Геру и Мишу он смог отправить эшелонам со станции Осинówki на восток. Это было 6 июля 1941 года. Отец понял,

что надо спасать семью. И вместе со старшим сыном Гришей буквально впихнул нас в какой-то вагон. В эшелоне, уходящем на восток, было двенадцать вагонов. Вскоре мы поняли, что в этом вагоне эвакуировали слепых. И они почувствовали, что к ним подсели какие-то посторонние люди, и хотели нас выбросить. Но благодаря тому, что в нашей семье был маленький ребенок, то есть – я, нас оставили в покое. Мы были уверены, что уезжаем на какой-то очень короткий срок и вскоре вернемся в Дубровно. Мама взяла с собой только самые необходимые вещи и какой-то портфельчик. В пути, на станции Катынь, эшелон разбомбили, мы остались живы, хотя много людей погибло. Потом нас посадили в какой-то проходящий эшелон, и мы добрались до Мучкапа – это городок в Тамбовской области, и какое-то время жили там. Нас приютили местные жители. Мама и братья работали в колхозе, помогали убирать урожай. Было очень жаркое, даже засушливое лето – июль, август 1941 года.

Когда мы уехали, брат Гриша еще оставался работать в Дубровно в типографии. Был приказ, по которому люди не могли самовольно оставить рабочее место. Дисциплина, поддерживаемая очень строгими наказаниями, перед войной была железной. Власть сумела внушить страх, и люди боялись не выполнить приказ. Отец сумел отправить Гришу на восток в самый последний момент перед приходом фашистов. Гриша догнал семью в Мучкапе. Уже все вместе мы перебрались в Казань, где жил наш родственник. Какое-то время Гриша и Миша работали на заводе шоферами, пока их не призвали в армию.

Отца в народном ополчении вооружили какой-то допотопной берданкой. Возглавил ополчение в Дубровно начальник местной милиции по фамилии Мове. Оружия на всех не хватало. Оказать врагу, хорошо вооруженному, обученному, реального сопротивления ополчение не могло. Люди были мужественные и стремились защитить свой город, свою землю. Но ополчение было сломлено, многие погибли.

Отец какое-то время скрывался у соседки, жившей на той же улице Крылова напротив их дома. Это была простая и добрая белорусская женщина. Ее звали Авгинья. Как ее фамилия, я не знаю. Через какое-то время отец понял, что подвергает

слишком большому риску семью этой женщины: за укрывательство евреев могли расстрелять всех ее членов. Он ушел от них и попал в гетто.

«Вот в этом доме жила Авгинья», — показал мне Юрий Аркадьевич. Мы поднялись на взгорок, на котором и сегодня стоит этот дом, и постучали в ворота. Прошло несколько минут, пока открылась калитка и из нее выглянул уже немолодой человек.

Юрий Аркадьевич поинтересовался, где можно увидеть сына Авгиньи, сказал, что лет восемь назад заезжал и разговаривал с ним. Сыну Авгиньи в 1941 году было 14 лет. Он хорошо помнил Арона Нирмана, знал, что его расстреляли в гетто.

Оказалось, что сын Авгиньи умер. В доме живут посторонние люди. Человек, открывший нам калитку, приехал в Дубровно из Орши, чтобы помочь выкопать картошку. Сказал, что хозяйка дома уехала кого-то проведать в больницу, сейчас он один и не в курсе событий семидесятилетней давности.

Для него мы были людьми из другого мира. На той же улице, в тех же домах, сейчас другая жизнь, и попытки Юрия Аркадьевича соединить эти времена иногда встречали понимание, но чаще — безразличие.

— Братья были призваны в действующую армию, — продолжил свой рассказ Юрий Аркадьевич. — Сначала на службу отправился Гриша. У него было плохое зрение, и его направили в железнодорожные войска. Обмундирование железнодорожных войск и их довольствие в первые годы войны было очень плохим. Солдаты-железнодорожники ходили по полям, перекапывали их, сами добывая себе еду.

Сохранились почтовые открытки, отправленные Гришей из армии. Они тогда строили железнодорожный путь Казань — Сталинград. Мама каким-то образом умудрялась ему что-то отправлять, хотя мы сами жили впроголодь. Гриша все время рвался на фронт. Во всех письмах писал, что будет делать все от него зависящее, чтобы попасть в действующую армию. Не понимаю, как с таким зрением его отправили учиться на пулеметчика. В 1943 году Гриша отправился на фронт. Мне было пять лет. Я помню, как емушили вещевого мешок из старых зеленых портьер и напекли в дорогу лепешки — кухоны.

Гриша писал с фронта: «Дорогие мои мама и братья! Я все сделаю, чтобы отомстить этим проклятым фашистам за нашу разбитую жизнь». Писал карандашом, отдельные строки были вычеркнуты военной цензурой. Это были открытки, как сейчас помню, на лицевой стороне рисунок — военный разведчик скачет на лошади. Гриша погиб в 1943 году под Воронежем.

Брат Миша был призван в армию в марте 1943 года, и его направили сначала в бронетанковые войска, а затем, в числе 120 человек, отобрали в мотоциклетный разведывательный полк. Учился четыре месяца, осваивая мотоциклы М-72 и американский «Харлей-Дэвидсон». Служил Михаил Нирман на 1 Украинском фронте. Освобождал Житомир, Киев. Потом воевал на 1 Белорусском фронте, освобождая от немецких захватчиков Белоруссию, Польшу. Прошел боевой путь до Берлина. Был тяжело ранен 27 апреля 1945 года, когда бои уже велись в столице Третьего Рейха. На мотоцикле вместе с ним воевали пулеметчик и автоматчик. Это были крепкие ребята из Сибири. Мина попала в мотоцикл, его друзья-сослуживцы погибли на месте, а у Миши было тяжелое ранение ноги. Два часа он лежал в зоне обстрела. Его вынес и спас от гибели москвич, русский солдат Александр Шаров. Брата отправили в госпиталь.

За подвиги Михаил Нирман был награжден двумя орденами Славы — это высшие награды для рядового состава, орденом Красной Звезды, медалями. Его представляли к званию Героя Советского Союза. Но он попал в госпиталь, и представление затерялось.

После войны Михаил почти два года лечился в госпиталях Ульяновска, Казани. Потом вернулся в Оршу, приспособился и на костылях стал ходить на работу на завод «Красный борец». Был рабочим в литейном цеху. Молодость брала свое. Несмотря на ранения, Михаил стал заниматься спортом, даже играл вратарем в заводской футбольной команде. Со временем возглавил спортивную организацию завода. Был отмечен Комитетом по физической культуре и спорту БССР поездкой на 2 Спартакиаду народов СССР в Москву. Это было в 1956 году, он взял меня с собой. На заводе и в городе Михаила Нирмана уважали, ценили.

Еще один брат Гера работал часовым мастером. Был инвалидом, но держался всегда мужественно.

Уже к середине июля 1941 года немцы хозяйничали в Дубровно. Практически с первых дней оккупации начались издевательства над мирным населением. Всех евреев: женщин, стариков, детей, ждало уничтожение. Люди не догадывались об этом и надеялись, что их не тронут. Но иллюзии исчезали с каждым днем.

«Из Акта Государственной Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков от 30 марта 1945 года: “С первых дней вторжения гитлеровских извергов в Дубровенский район и районный центр Дубровно началось бесчеловечное хозяйничанье. Все население было поголовно превращено в рабов и использовалось на каторжных работах: постройке мостов, исправлении дорог, рытье траншей и других земляных сооружений и укреплений. Всякое ослушание или промедление безжалостно наказывалось резиновыми палками. Были случаи избиения до полусмерти”.

Из воспоминаний Золотарской Марфы Васильевны: «Ходила в комендатуру получать аусвайс и видела, как полиция уложили на землю 10 евреев и избивали их палками».

Геннадий Винница, «Горечь и боль», Орша, 1998 г., с. 18.

Это было еще до образования гетто, которое фашисты сделали по улице Левобереговой в начале осени 1941 года. Все еврейское население Дубровно и окрестных деревень было согнано в лагерь «Жилкоп».

«...Их согнали в двухэтажный дом теперешнего райпотребсоюза и трехэтажный дом напротив. Сначала узников оккупанты отправляли за территорию гетто для выполнения разных работ. Но людям было запрещено даже здороваться с ними. За самое незначительное нарушение установленных правил грозила неминуемая расправа. Один из узников спрятался в доме около теперешнего универсама, но был выявлен и расстрелян. Повезло 7–8-летней дочке врача-еврейки по фамилии Метр. Ее, рискуя жизнью, спрятала белорусская семья, что жила по

улице Березовской. После войны спасенная девушка приезжала в Дубровно».

*«Днепровская правда», 3 апреля 2004 г., Алексей Гаврутиков,
«Трагическая судьба народа».*

6 декабря 1941 года более 1500 узников гетто фашисты и полицаи расстреляли за фабричным двором «Днепровской мануфактуры». В действиях фашистов не было ничего случайного. Массовые расстрелы евреев обычно проводились в еврейские или советские праздники. В этом был изощренный садизм, который должен был действовать на психику узников, они должны были постоянно ощущать обреченность, бесполезность сопротивления. И места для расстрелов выбирались не случайно.

Евреев расстреливали в Дубровно, рядом с фабрикой «Днепровская мануфактура» не только потому, что там подходящий для палачей ландшафт, на возвышенности можно установить

*Расстрел евреев в Дубровно. Снимок (копия)
найден в доме, где жил немецкий офицер.
На снимке дата 03.12.41 г.*



пулеметы, а у жертв мало шансов для побега. «Днепровская мануфактура» – одно из самых еврейских мест в Дубровно, а может, и во всей Беларуси. Фашисты и их местные приспешники не знали о всех подробностях истории этого предприятия, но многое о нем слышали и совершили чудовищное преступление именно здесь.

Воспоминания очевидцев восстанавливают хронологию тех страшных со-

бытий. Золотарская Марфа Васильевна свидетельствовала: «На краю карьера были установлены два пулемета. Выводили семьями. Дети обнимали мать и таким образом принимали смерть. Затем, независимо от того, живой или мертвый, сбрасывали в яму. В конце расстрела пригнали детей дошколят, и один немец-сидист брал ребенка и ударял о колено, ломая позвоночник. После расстрела земля колыхалась несколько дней».

Из воспоминаний Арутюновой Екатерины Ивановны: «У кого из евреев была хорошая одежда, раздевали. После расстреливали. Убитых и еще живых закапывали. Я также видела изуверский способ убийства, когда некоторых людей обливали горячей смесью и поджигали живьем. Дрибинский и его дочь бежали. Полицай, погнавшийся за ними, убил его дочь. Отец откупился, дал ему золотую монету. Потом мой отец, Сахаров Иван, прятал его несколько дней, а потом он ушел в лес».

Геннадий Винница, «Горечь и боль», Орша, 1998 г., с. 18.

«Отец был расстрелян именно в этот день, 6 декабря 1941 года, — рассказал мне Юрий Аркадьевич Нирман. — Так нам рассказали в 1947 году, когда мы вернулись из эвакуации. Мы приехали не в Дубровно, так как наш дом сгорел, а в Оршу, потому что дядя — мамин брат жил там, он нам помог на первых порах, и потом помогал строиться. Но мы, мама и братья, ездили в Дубровно и знали, как расстреляли отца. Местные жители рассказывали нам эту историю, полную и трагизма, и героизма. Когда отца вели на расстрел, он смог затащить с собой в расстрельную яму палача. Не знаю, это был немец или полицай. Отец выскочил из шеренги тех, кого отправляли на расстрел, и вцепился руками в шею палача. Более того, говорили, что он перегрыз ему горло и затащил в могилу. Невозможно это себе представить».

После первого расстрела фашисты оставили в живых группу ремесленников, которые работали для нужд немецкой армии. Их, вместе с семьями, насчитывалось около 300 человек. Они прожили до февраля 1942 года.

По другим данным, второй массовый расстрел дубровенских евреев произошел 2 апреля 1942 года.

«Как свидетельствуют некоторые жители Дубровно, в 1942 году некоторых горожан стали заставлять копать траншею в районе

старой мануфактурной фабрики, а после дождя и снега расчищать ее. 2 апреля 1942 года немцы вывели узников гетто и колоннами направили их в сторону траншеи. Один из узников бросился на немца, но был застрелен около родника.

За тем, как евреев вели на расстрел, сквозь щели в заборе наблюдало несколько подростков-дубровчан, пока их не прогнали полицаи».

*«Днепровская правда», 3 апреля 2004 г., Алексей Гаврутиков,
«Трагическая судьба народа».*

В Акте Государственной Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков записано: «Кроме массовых расстрелов, еще группами и по одиночке было расстреляно 185 человек. Всего в Дубровно было расстреляно 1985 евреев».

Отступая, немцы пытались уничтожить следы своих преступлений. Они понимали, что их ждет неминуемая расплата. Советским военнопленным было приказано раскопать рас-

Юрий Аркадьевич Нирман с племянником Женей у памятника расстрелянным евреям Дубровно.



стрельные ямы, трупы достать, облить горючим и сжечь. Затем были расстреляны и сами военнопленные. Фашисты пытались уничтожить следы зверских преступлений. Старожилы вспоминают, что целую неделю над Дубровно стоял страшный смрад.

Были люди, которые, рискуя не только собственной жизнью, но и жизнями близких людей (за укрывательство

евреев расстреливали всю семью), спасали обреченных на смерть.

Ида Гуменик, 11-летняя девочка из Ленинграда, проводила каникулы у своих родственников в колхозе недалеко от Могилева. Когда началась война, она не сумела вернуться домой и осталась у родственников. Когда те были расстреляны, Иде удалось убежать. Родственники успели сказать ей, что у них есть подруга Ефимия Реутович, которая живет Дубровно.

Девочке удалось добраться до этого города, ее спрятали в семье Реутович. Ефимия сказала: «Оставайся у нас. Я спасу тебя. Бог убережет моего Шурочку в Ленинграде».

Действительно сын Ефимии пережил блокаду. Степан и Ефимия относились к Иде, как к родной дочери. Они представляли ее всем под именем Лиды — девочки из Ленинграда, родители которой погибли при бомбежке города. Несмотря на это, у некоторых соседей появились подозрения и они донесли властям.

Полицай допросил Ефимию и Иду, выясняя происхождение девочки. В конце концов, он принял версию, придуманную Реутовичами. Степан также предоставил временное укрытие двум родственникам Иды, которые позже присоединились к партизанам.

После освобождения Дубровно в июне 1944 года Ида вернулась к своей семье. Они поддерживали дружеские отношения со спасителями девочки, на свадьбе у Иды Ефимию назвали почетной мамой.

16 апреля 2001 года Израильский институт Катастрофы и Героизма Яд-Вашем удостоил Степана и Ефимию Реутовичей почетным званием «Праведник народов мира».

Но многие из тех, кто пришел на помощь евреям в трагическое время, не получили никаких наград. Вспоминает Галина Райхман (Попова): «Мальчика-подростка Крупкина спасла жительница Дубровно, фамилию я не знаю. Я с ним лично говорила. Он был читателем районной библиотеки, когда я там работала. Он и после войны жил в семье, которая его спасла».

Юрия Аркадьевича Нирмана хорошо знают на Дубровенском льнозаводе: и директор Анатолий Дмитриевич Басенков, и председатель профкома Ольга Паладьевна Кривова.

Нирман позвонил с проходной, и вскоре мы встретились с Ольгой Кривовой. И уже все вместе отправились к памятнику. Юрий Аркадьевич и Женя привезли саженцы хвойных деревьев, чтобы посадить их у памятника. Ольга Паладьевна позвонила на завод, и вскоре подошли рабочие из строительной бригады. Обсудили, какие работы надо выполнить: внутри ограды положить декоративную плитку, сделать бордюр.

На месте расстрела евреев в начале пятидесятих годов был сооружен памятник. Это было сделано по инициативе секретаря Дубровенского райисполкома Хасина. Его семья была расстреляна в гетто. Это был, как тогда принято, безымянный памятник, на котором написано: «Советским гражданам, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков 1941–1942 гг.». И ни слова, кого расстреляли, за что.

«Мы регулярно приезжали к памятнику: я, мои братья, племянники, — рассказывает Юрий Нирман. — В середине 90-х годов оршанский исследователь Холокоста Геннадий Винница (сейчас он житель Израиля) обратился ко мне и попросил поделиться воспоминаниями о том времени. Я практически ничего не помнил. Попросил старшего брата Мишу рассказать обо всем. Миша много о чем вспомнил. Это есть в книге Геннадия Винницы «Горечь и боль». Миша вспомнил более 50 фамилий погибших. Они опубликованы в книге «Память. Дубровенский район».

Памятник сделан из кирпича, оштукатурен. Со временем стал разрушаться. Я с племянником регулярно приезжал сюда. Мы покупали стройматериалы, реставрировали памятник, убирали территорию вокруг него. Похоже, кроме нас уже и некому сюда приезжать из родственников погибших людей.

(В 1970 году в Дубровно жило 35 евреев, в 1989 году — 18, в 1999 году — 5 во всем Дубровенском районе, в 2013 году на учете в Оршанской еврейской благотворительной организации, которая занимается и евреями Дубровно, состоит всего 1 человек — А.Ш.).

Я обратился к директору завода, к председателю профкома. Фактически евреев фашисты убивали на нынешней территории льнозавода, это место сейчас за высоким забором. А памятник поставили чуть в стороне, за территорией предприятия.

Руководство завода отозвалось на мою просьбу – были выделены люди, которые стали присматривать за памятником.

Я заказал в мастерской мраморную доску, на которой были выгравированы фамилии погибших, которые вспомнил мой брат. Мы вмонтировали мраморную доску в памятник.

Недавно Юрий Аркадьевич Нирман был в Иерусалиме в Институте Героизма и Катастрофы «Яд-Вашем», работал в архиве и привез новый список из более чем 300 фамилий узников Дубровенского гетто, расстрелянных фашистами и их пособниками. Он установил ряд мраморных досок, на которых выгравированы все известные ему теперь фамилии погибших в годы Холокоста дубровенских евреев.

Среди них и Баркенблит Эстер Моисеевна. В августе 1945 года ее сын, фронтовик Беркенблит Е.Е., еще продолжать служить в армии. Он уже знал о зверствах, которые творили фашисты на оккупированных территориях. В Дубровно оставалась в годы войны его мама. И он пишет письмо в райисполком. Туда же пишут его родственники из Москвы. Секретарь райисполкома Хасин отвечает: «...если только она оставалась здесь, то ее в живых не может быть, ибо все те, которые остались на оккупированной территории фашистскими разбойниками от малого до старого, все как один этими людоедами, буквально все уничтожены – расстреляны...».

Но люди не верят, это не укладывается в мозгах – зверства такого вселенского масштаба.

И пишутся новые письма. Секретарь райисполкома Хасин обвиняется в формальном бюрократизме. Хотя, как видно из его ответов, судьба его семьи такая же страшная. «...Таким же способом, как и вы, я разыскивал и запрашивал в отношении своей семьи, и мне сообщили о семье моей, что о ее судьбе ничего неизвестно. В то время, как моя семья вся расстреляна немцами...»

Остается только догадываться, что сам Хасин в годы войны был в действующей армии или в партизанском отряде.

Секретарь райисполкома оправдывается, пытается доказать людям, что он ни в чем не виноват. «...почему вы меня так серьезно обвиняете в бюрократизме, мне не понятно. Иначе я

лично вам писать не мог, так как точный учет расстрелянных отсутствует, просто кое-что мы узнаем от других».

Ответ написан 7 августа 1945 года.

Не знаю, живы ли сейчас фронтовик Баркенблит Е.Е. и послевоенный секретарь Дубровенского райисполкома Хасин. Времени прошло немало. И возможно, они не увидят на мраморных плитах фамилии родных людей.

Но, благодаря подвижнической деятельности Юрия Аркадьевича Нирмана, восстановлена справедливость и увековечена память. На мраморной доске значится имя матери фронтовика Баркенблита Е.Е., а также сестер секретаря райисполкома Хасина: Роза, Лиза и Соня Айзиковны.

– Сейчас, когда уже никого из очевидцев той трагедии не осталось, да и их детей уже нет, я хранитель этой памяти, – говорит Юрий Аркадьевич Нирман. – Это тяжелый груз, хотя, казалось бы, никто меня не обязывает. Но по-другому я жить уже не смогу.

В жизни нет ничего случайного. Каждая встреча откладывает отпечаток. Когда я служил заместителем военного коменданта Архангельского отделения железной дороги в Няндоме – это между Вологодой и Архангельском, случайно познакомился с одним человеком, фамилия его Лопатухин. Он тоже из Дубровно, был узником гетто, находился среди тех, кого собирались расстрелять. Лопатухин упал в яму вместе с убитыми, но пули не задели его, он ночью выбрался из ямы. Местные жители помогли ему, и остался живым. Он рассказывал мне обо всем. Брат вспомнил эту семью, и фамилия Лопатухина есть на памятнике.

После первой встречи с Юрием Аркадьевичем Нирманом и нашей поездки в Дубровно я опубликовал в журнале «Мишпоха» очерк об этом – (№ 25, 2010 г.). Прошло несколько недель, и по интернету получил письмо из Болгарии от Елены Каган. Она просила срочно прислать адрес Нирмана.

А потом состоялась наша встреча в Беларуси. Лена и племянница из Израиля Женя Зимова приехали навестить родные места своих предков.

– Прочитала очерк про Юрия Аркадьевича, и меня, как захлესнуло, – рассказала Лена. – Я ведь почти ничего не знала

о семье своей бабушки, о ее родителях. Бабушка была религиозной и молчаливой женщиной. Да и время тогда было такое, что напуганные жизнью люди старшего поколения не говорили лишних слов, боясь навредить своим детям.

Сейчас я уже что-то знаю о своих предках.

Мой прадед из Дубровно – Арон Лопатухин. Был мясником. Умер в Дубровно в 1912 году. Жил в местечке по улице Парижеской. Адрес написан на фотокарточке, которая хранилась у нас в Ленинграде. Интересно, откуда в Дубровно могла появиться улица с таким названием? Неужели это следы войны 1812 года, и улицу называли те, кто в ней участвовал? Уж не знаю, победители или побежденные жили на улице Парижеской...

Арон Лопатухин был женат на Лие Мовшевне Пик. У них было пятеро детей: четверо дочерей, в том числе и моя бабушка Зина, и сын Моисей, который выбрался из расстрельной ямы.

Недавно Женя – внучатый племянник Юрия Аркадьевича Нирмана, вышел через интернет с предложением «Нирманы всех стран – объединяйтесь!». Ему ответил врач-офтальмолог из Ростова Павел Вакарев. Его бабушка тоже носит фамилию Нирман, она из Дубровно. Более того, до войны тоже жила на улице Крылова.

– Оказалось, просто однофамильцы, – сказал Юрий Аркадьевич. – Она знала всю нашу семью. Дора Нирман сейчас живет в Азове. Она вспомнила, как отец Арон Нирман задушил охранника во время расстрела.

В Орше мы заехали в дом, где после войны жили Нирманы.

Недалеко от этого дома еврейское кладбище. Здесь нашли последний приют мама Юрия Аркадьевича, его братья Миша и Гера...

...Юрий Нирман прожил большую жизнь, учился в железнодорожном техникуме, военном училище, академии. Закончил службу в армии в должности заместителя начальника военного научно-исследовательского института. Объездил многие города и страны. Но душа его осталась здесь: на земле, где родился и вырос... Здесь, в Орше, он завещал похоронить себя на еврейском кладбище, рядом с могилами родных.

Перельманы из Лужков

7 января 1858 года в небольшом белорусском местечке с красивым названием Лужки, которое тогда относилось к Дисненскому уезду Виленской губернии, а ныне входит в состав Шарковщинского района Витебской области, в семье любавичского хасида Иегуды Перельмана и его жены Фейги родился мальчик Элизер, которому суждено было стать отцом современного иврита. Языка, на котором в начале третьего тысячелетия произносят свое первое слово малыши, языка, на котором объясняются в любви, решают государственные проблемы, спорят о ценах на хлеб, отдают военные команды,

Памятник Элизеру Бен-Иегуде в Глубоком на Аллее знаменитых земляков.



оставляют завещания потомкам. Иврит стал государственным языком Израиля. Его учат в школах и институтах Америки и Австралии, Беларуси и Южно-Африканской Республики, Германии и Аргентины, других стран мира. Он объединил миллионы людей.

У этого языка поразительная история. Такая же гордая, странная и сумасшедшая, как и история самого народа. Иврит — один из древнейших языков нашей планеты. После того, как евреи вынуждены были уйти в рассеяние, лишиться своей родной земли и поселиться в разных странах, иврит постепенно стал уходить

из повседневной разговорной речи и становиться языком молитв, общения с Богом. Отдельные слова-гебраизмы перекочевали в лексику идиша, ладино и напоминали вершины гор, оставшиеся на поверхности океана от некогда большого и могущественного острова, ушедшего под воду во время стихии.

Самые гениальные идеи поначалу всегда кажутся бредовыми. Также были восприняты высказывания Эли Перельмана о возрождении иврита. Сегодня мир знает уроженца белорусского местечка Лужки под именем Элиэзера Бен-Иегуды. Его имя увековечено в названиях улиц, площадей. Одна из них находится в центре Иерусалима. Когда шумные, неугомонные люди гуляют в прохладные вечерние часы по этой улице, разглядывают красивые витрины магазинов, сидят в кафе или слушают уличных певцов, вряд ли кто-то из них вспоминает, что свои первые шаги человек, чьим именем названа эта улица, делал по пыльной песчаной мостовой за тысячи километров отсюда.

В Лужках имя Эли Перельмана по-прежнему позабыто-позаброшено. Позабыто, потому что нет ни улицы, которая бы носила его имя, ни мемориальной доски, и только в маленьком школьном музее на одном из стендов я увидел книжку о человеке, возродившем иврит. Издана она была далеко от здешних мест, в Израиле. Кстати, в Глубоком – центре соседнего района – осенью 2012 года на Аллее знаменитых земляков открыли памятник Элиэзеру Бен-Иегуде работы витебского скульптора Валерия Могучего. Думаю, уместно было бы в Лужках провести один из туров всемирной олимпиады иврита. Помещение нашлось бы, да и гостиницы есть в близлежащих районных центрах.

В Лужках еще остались стены того здания, где когда-то находилась синагога и хедер при ней, в котором учился маленький Элиэзер. Здесь он начал свое образование, которое в 13-летнем возрасте продолжил в Полоцке в иешиве этого города. Потом учился в Глубоком, Двинске, Париже.

...В начале девяностых годов теперь уже прошлого XX века я впервые приехал в Лужки, разговаривал со сторожилами и



Остатки хедера, в котором учился Элизер Перельман, начало 90-х годов.

сфотографировал это полуразвалившееся здание. Оно было хоть и с ветхой, дырявой, но все же крышей, оконными рамами.

Через пару лет крышу и оконные рамы как ветром сдуло. Кругом стен метровой толщины, сложенных из камня, внутри и снаружи здания, росли крапива и бурьян выше человеческого роста. А когда я стал пробираться внутрь постройки, меня предупредили, что делать это надо осторожно. Со стороны реки Мнюта обрыв подошел к самой стене. Еще пару лет — и стены могут рухнуть.

Правда, в последние годы в Лужках и в соседних Германовичах появились энтузиасты, которые не на словах, а на деле заботятся о том, чтобы сохранить для потомков историю родных мест.

Неравнодушные люди из Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры в 2009 году стали хлопотать о придании статуса историко-культурной ценности ансамблю синагогального двора в Лужках, который сегодня выглядит ни по-божески, ни по-людски. Этими людьми разработан эскизный проект по реставрации здания синагоги и открытия здесь музейно-культурного центра имени Элизера Бен-Иегуды.

И поверьте, музею будет, о чем рассказывать. У Лужков богатая история, в том числе очень интересны ее еврейские страницы. «В 1766 году здесь жило 96 евреев – плательщиков подушной подати. По ревизии 1847 года – “Лужицкое еврейское общество состояло из 458 душ. По переписи 1897 года в Лужках жителей 1672, из коих евреев 761”».

*«Еврейская энциклопедия» изд. Брокгауз–Эфрон,
С.-Петербург, т. X, с. 374.*

Кроме синагоги, в Лужках были православная и католическая церкви. Прием больных осуществляла лечебница, при ней работали фельдшер и повивальная бабка, лекарства отпускались в аптеке. Работали народное и еврейское училище. Промышленность была представлена винокуренным заводом (на 9600 рублей). Местные сыроделы выпускали изысканные сорта сыра.

В конце XIX – начале XX века Лужки активно строились, росло население. В 1907 году оно достигло 2468 человек.

...Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович убежден, что синагога в Лужках является не только образцом иудейского культового зодчества, но и частью исторического архитектурного ансамбля, который сохранился в местечке и состоит из усадьбы графов Плятеров, церкви, костела, водяной мельницы, жилой и гражданской застройки.

Когда-то эта синагога была одноэтажным прямоугольным зданием, со стенами из бутового камня и кирпича и находилась на на склоне высокой террасы правого берега реки Мнюты.

В интерьере еще и сегодня сохранились фрагменты штукатурки с остатками настенных росписей.

На берегу Мнюты остались руины миквы – водного резервуара для ритуальных омовений. Миква была прямоугольным строением, со стенами из бутового камня и кирпича, внутри ее находился бассейн, который по деревянным трубам наполнялся речной водой. Вероятно, в те годы Мнюта была гораздо более полноводной и чистой рекой.

При синагоге до 1930-х годов действовал хедер – начальная еврейская религиозная школа, где обучался и Элизер Перель-

ман до 1872 года. Мальчик из многодетной семьи, оставшийся в пять лет без отца, учился за счет общины.

Синагога перестала действовать с начала июля 1941 года, когда Лужки были оккупированы немецко-фашистскими войсками. После войны она была приспособлена под керосиновую лавку, закрытую в 1970-е годы. Здание миквы было разрушено во время войны.

17 марта 2010 года решением Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры ансамблю синагогального двора в Лужках дан статус историко-культурной ценности, и согласно Постановлению Совета министров, ансамбль внесен в государственный реестр историко-культурных ценностей.

За последние годы это самое знаменательное событие, касающееся Лужков, хотя и мало обсуждаемое его жителями. Они, что вполне понятно, живут другими проблемами.

Фамилия Перельман была очень распространенной в довоенных Лужках. Многие, конечно, приходились друг другу родственниками — семьи были очень большие. И даже те, кто считался однофамильцами, были тоже родственниками, только такими дальними, что даже местечковые старожилы не могли припомнить, кто и кем кому приходится.

Берта Иосифовна Перельман по складу характера была таким же одержимым человеком, фанатично преданным идее, как и Элизер Перельман. Материалы о ней есть на стенде в музее Лужковской средней школы.

Родилась Берта Иосифовна в 1876 году в семье ремесленника. Училась в местечковой школе. Работала швеей. Но социалистические идеи, витавшие в воздухе, долетели и до Лужков, и захватили БERTУ Перельман. Пойдя против воли родителей, она уехала в Москву, вступила в партию большевиков. Во время революции 1905 года девушка была на баррикадах. Ее арестовали и выслали в Архангельскую губернию. Она совершила побег, вернулась в Москву, находилась в подполье. Снова арест и ссылка в Нарымский край. Вместе с ней выслали Якова Свердлова, Филиппа

Голощекина, Ивана Оборина. В ссылке Берта Перельман вышла замуж за Филиппа Голощекина. После Февральской революции семья революционеров – в Екатеринбурге. Филипп Исаевич Голощекин участвовал в расстреле царской семьи. В 1918 году Берта Иосифовна Перельман умерла. Ей было всего 42 года...

Представление о жизни Лужков в период между двумя мировыми войнами можно получить из воспоминаний «Мое местечко» Василя Стомы (Синицы).

Человек с неоднозначной биографией, он свидетельствует о своих детских и юношеских годах, рассказывает о местечке, о соседях, друзьях.

Василь Стома родился в 1911 году в Лужках. Окончил польскую семилетку. Во время Второй мировой войны оказался в Германии, откуда перебрался в США в 1949 году. Видный деятель белорусской эмиграции, писатель. Умер в 1992 году.

«Вот же, оно называлось Лужки и лежало на взгорке, так что, с какой бы стороны ни въезжал в него, надо было ехать под гору. С трех сторон его, как будто поясом, обвивала небольшая, но довольно глубокая и красивая речка Мнюта.

В самом центре местечка, на рынке, стояла довольно красивая церковь, как будто перестроенная с униатской, а на окраине местечка был большой и красивый костел с готическими башнями, крутой и в тоже время пологой крышей, построенный предками графского рода Плятеров, поместья которых Городец, Фабьяново и Иловка – находятся на окраинах местечка. Были также там начальные школы польские и еврейские, несколько синагог, еврейский банк, полиция, суд, гмина и почти двадцать магазинов. Магазины большей частью еврейские, и только два или три из них принадлежали христианам. Был кооперативный магазин, основанный в начале 20-х годов. Помню, наша соседка Хайка А., которая гордилась тем, что, по ее словам, когда-то училась в гимназии, – не называла кооператив, а почему-то “компротив”, а иные шутя называли этот магазин и вовсе “противная лавка”. Но эта кооперативная лавка, не выдержав еврейской конкуренции, в конце концов, закрылась.

Казармы были построены конце 20-х годов для пограничной охраны. Это поправило материальное положение жителей местечка, теперь они имели большой сбыт таких продуктов, как молоко, масла, яйца, овощи, продавая их “панюсям” — женам офицеров и подофицеров, а то и солдаты часто требовали повозку для того, чтобы добраться до отдаленной на 30 километров железнодорожной станции.

...Кроме речки, в местечке было небольшое озеро, которое местные жители ласково называли озерком. Особенностью этого озера было то, что подойти к нему можно было только с небольшого участка берега, в других местах была бездонная топь. Говорили, что в озере никто и никогда не доставал дна.

Между местечком и графским поместьем Городец располагался старинный запущенный парк, где местная молодежь и особенно влюбленные пары в выходные и праздничные дни прохаживались, держась за руки. По местному это так и называлось “ходить за подручку”. Временами местные пожарники или какая-нибудь другая организация устраивали в парке маевки. Чтобы участвовать в них, нужно было внести денежный взнос.

На рынке в центре местечка каждый вторник проводились ярмарки.

На рыночную площадь выходили пять главнейших улиц местечка: Гармановская — с севера, Дисненская — с востока, Костельная (прозванная почему-то и, по-моему, незаслуженно Свиной) — с юго-востока, Мельничная — с юга, и, наконец, Мостовая, может, одна из наиболее уютных, потому что вся была в зелени деревьев, — с запада. Почему Мостовая улица так называлась, остается загадкой, никакого моста там никогда не было, кроме узенькой в три жердочка кладки. Кладка вела к еврейскому кладбищу, которое было на той стороне реки. Вокруг кладбища росли высокие и шумевшие даже при слабом ветерке осины, и это почему-то наводило на меня необъяснимый ужас, сопровождавший меня все детские годы.

...Еще посередине рынка находилось большое деревянное строение, в котором размещалось несколько еврейских магазинов. Строение было сожжено в 1920 году без видимой на то

причины проходящим через местечко польским 7-ым полком пехоты». (Перевод с бел. – А.Ш.)

*Журнал «Полымя», №№ 9, 10, 1998 г.,
Василь Стома (Синица), «Мое местечко»*

Какое же местечко могло обойтись без колоритных, запоминающихся персонажей... Местечковый мудрец-философ, свой сумасшедший, доморощенный гениальный скрипач... Ну, а если таких не было, то народная молва сама распределяла роли.

Конечно же, были такие персонажи в Лужках. Бляхариха – жена жестянщика (на белорусском языке “бляхар” – жестянщик – А.Ш.). Она узнавала все местечковые новости даже раньше, чем они происходили. Но самое главное, умела лечить от разных болезней, знала заговоры от «дурного глаза», от рожи, от укуса змей и много-много от чего еще. Ее уважали и боялись в местечке.

В Лужках издревле была традиция – хупу, то есть свадебную процессию, начинать на перекрестке, рядом с синагогой на Мельничной улице. Ее пересекал переулок без названия, который вел к еврейскому банку и еврейской школе. После хупы молодожены и гости пешком, сопровождаемые свадебными музыкантами – клезмерами под управлением Бейнуса, отправлялись в помещение, где должно было состояться свадебное застолье. Так вот, всегда этот парадный поход возглавляла Бляхариха и под быструю мелодию, чем-то напоминавшую «польку», вытанцовывала с удивительной для ее возраста и комплекции резвостью и пела какие-то еврейские припевки. Придя на место, она заботилась, чтобы все гости расселись на места в соответствии с положением, которое они занимали в обществе. А потом смотрела за порядком на свадьбе.

Жил в Лужках скрипач Берка. Он нигде не учился музыке, но от природы имел абсолютный слух. Мог воспроизвести любую мелодию, даже если слышал ее всего один раз. Он мог имитировать на скрипке голоса птиц. Сколько раз руководитель клезмеров Бейнус уговаривал Берку поиграть вместе с ними на свадьбе или еще где-нибудь, но непременно получал отказ. Берка вообще не играл за оплату. А еще Берка был старый холостяк, не

поддавался ни на какие уговоры и даже не знакомился с женщинами. Любил придумывать всякие неправдоподобные истории и в этом деле мог бы соперничать с бароном Мюнхгаузеном.

Сколько историй можно рассказывать о местечке! И каждая будет иметь свой неповторимый колорит.

Владимир Игнатьевич Метелица после окончания белорусской гимназии в Вильно и учительского института приехал в Лужки. В 1939 году начал преподавать в средней школе. С тех пор история местечка самым тесным образом переплелась с его собственной судьбой.

«До войны у нас жило более 100 еврейских семей. Мой друг Шенкман держал кузницу, у него были золотые руки. Говорили, что лучшего кузнеца не было во всей округе. В послевоенные годы моя семья живет в доме, который до войны ему принадлежал. А наш дом в 1944 году сгорел. Дом Шенкмана уже пустовал к тому времени и, я думаю, он не в обиде, что мы сюда переселились.

Осенью 1941 года, еще не опали листья с деревьев, евреев собрали в гетто. Под него немцы выделили шесть домов в центре местечка. В этих домах и вокруг них во дворах было столько народу, что удивительно, как евреи размещались, где спали. Гетто не было огорожено. Через него проходила дорога из Глубокого в Лужки. Но гетто охраняли полицаи, они же водили евреев на работы. Те убирали дороги, чистили снег, заготавливали дрова, мыли полы, выполняли различные земляные работы.

Были евреи, особенно молодежь, которые бежали от фашистов в лес, боролись с врагами с оружием в руках. К партизанам ушли семьи Рицман, Кенигсберг, Шенкман.

Михаил Абрамович Козлинер мужественно воевал в партизанском отряде № 3 бригады «Октябрь». Фаня Исааковна Вейф воевала в партизанском отряде имени Суворова.

А пожилые и особенно религиозные люди вели себя обреченно. Когда пришел последний день и их пригнали на площадь, они сели на землю. Сюда же пригнали евреев из Германовичей, Миор, окрестных деревень. Раввин читал молитвы, говорил, что еврейская кровь должна быть вместе и поэтому никуда не надо бежать. Все в руках Бога. Полицаи, человек двадцать, погна-

ли евреев по Мельничной улице по мосту через реку Мнюта на расстрел. Помню, Бенъёмин, он торговал мукой, бросил с моста в речку золотую монету. Мельники видели это и потом искали драгоценный металл.

Евреев расстреляли в двух километрах от Лужков по дороге на деревню Веретею».

Вспоминает Ванда Ивановна Котова, 1923 года рождения: «Помню, как в гетто вели Скальских. Муж, поляк по национальности, женился на еврейке. Жену и детей забрали в гетто, когда он находился на работе. Мальчик все время плакал. Полицаяу это, видимо, надоело, и он, не долго думая, схватил ребенка за ноги и ударил головкой об угол здания. Мальчик сразу же умер.

...Евреев согнали и посадили перед расстрелом на площади. Здесь были еврейские семьи не только из Лужков, но и из других мест. Владелец магазина Бруднер с дочерью Малюсей подошли к немцам и предложили им, как выкуп за свою жизнь, шкатулку с золотом. Те и золото забрали, и просителей расстреляли...»

*Геннадий Винница «Листы истории»,
Витебск, 1999, с.164,165,167.*

Вспоминает Миронович Г.В.: «Во время войны я работала в местной больнице санитаркой. На чердаке больницы пряталась еврейка, работавшая раньше акушеркой. Потом, видимо, не выдержав психологически, она покончила с собой. Знаю точно, что были евреи, сумевшие уйти в партизаны».

*Геннадий Винница «Листы истории»,
Витебск, 1999, с.167.*

В донесении гебитскомиссара Глубокского округа генеральному комиссару в Белоруссии о ликвидации гетто от 1 июля 1942 года сообщалось: «1 июня 1942 года ликвидировано гетто в Лужках с 528 евреями»...

*«Свидетельствуют палачи. Уничтожение евреев на оккупированной территории Белоруссии в 1941–1944 гг.,
Минск, НАРБ, 2010 г., с. 68.*

В 1944 году Чрезвычайная комиссия, расследовавшая преступления немецко-фашистских захватчиков, опросила свидетелей страшного преступления:

«Из протокола допроса свидетеля Станислава Федоровича Галецкого, 1897 года рождения, жителя деревни Лужки.

Летом 1942 года, примерно в июне, в м. Лужки немецкими оккупантами было собрано около 500 человек евреев, среди которых были женщины, старики, дети. Все эти евреи были из местечка Лужки. Через несколько дней после этого немецкий карательный отряд всех собранных евреев погнал на расстрел. Всех евреев немецкие каратели привели в лес, который расположен в 2 км севернее местечка Лужки, напротив совхоза “Городец”. Когда их привели к месту расстрела, немецкие каратели начали группами подводить к вырытым ямам, евреев заставляли раздеться до гола и очередями из автоматов расстреливали их. Я сам слышал стоны, крики ни в чем не повинных женщин, стариков, детей. Немецкие изверги издевались перед расстрелом евреев, били их прикладами, еще не умерших сталкивали в ямы и засыпали землей. Автоматными очередями немецкие каратели расстреляли всех привезенных ими евреев в количестве 500 человек, а ямы, в которые ложили расстрелянных, засыпали землей».

ГАРФ, ф. 7021, о.
92, д. 219(2), л.85



Памятник на месте расстрела узников гетто.

Сейчас, в память о безвинно погибших евреях Лужков, стоит скромный памятник – бетонная плита, установленная лет сорок назад, на котором написано много слов, но нет слова «еврей». Кругом поле, коло-

сится рожь. И даже тропинки нет от дороги до могильной ограды. Все запахано и засеяно. Диву даешься, откуда такая рачительность...

Уже после войны, в 1946 году, белорусская девочка Лариса Сташкевич спряталась в еврейском доме Нисона Хацкелевича Цепелевича. Сташкевичи были состоятельными людьми. Не

знаю, какой компромат был на них, но НКВД решило выслать эту семью в Сибирь. Вот тогда девочка и нашла приют в доме Цепелевича и нелегально прожила в нем целый год.

Нисон Хацкелевич похоронен на еврейском кладбище в Лужках. Он умер в начале пятидесятих годов XX века. Летом кладбище зарастает бурьяном и напоминает труднопроходимые джунгли. С трудом, но я все же пробрался к этой мацейве и увидел неожиданный орнамент на памятнике последнего еврея Лужков. У вершины остроконечной плиты выбит магендавид, а внутри его... серп и молот.

Деревни Лужки и Германовичи, которые в 2006 году стали агрогородком, тесно связаны на протяжении всей своей почти пятисотлетней истории. Расстояние между ними 12 километров. Когда были местечками с преобладающим еврейским населением, германовичские женихи сватали девушек из Лужков и наоборот. Проходили шумные ярмарки, они снова объединяли жителей двух населенных пунктов. Да и сейчас все новости Германовичей тут же становятся известны в Лужках, а все, что происходит в Лужках, — в соседнем агрогородке.



Еврейское кладбище в Лужках.

Живет в Германовичах Ада Эльевна Райчонок — человек, которого хорошо знают и в районе, и в области, и в стране. Она родилась в канун Великой Отечественной войны в Витебске. Отец — еврей, мать — белоруска. В годы войны погибла бабушка Соша, бабушкина сестра — Марьяся и ее муж, в Суражском гетто расстреляли их детей. Во время одной из облав маленькая черноволосая Ада тоже попала в Витебское гетто. Мать собрала соседей с улицы. Они пошли в гетто и стали просить отпустить ребенка, уверяя, что произошла ошибка и девочка никакого отношения к евреям не имеет. Никто из соседей, хорошо знавших ее отца Эли Аронова, не выдал девочку. Всю войну перепуганная мать продержала ребенка под замком. После войны они жили в Полоцке. Ада Эльевна окончила педучилище и приехала работать в Германовичи. Вышла замуж, здесь родились ее дети.

И все эти годы Ада Эльевна увлеченно, по крупицам, собирала экспонаты для музея. Не осталось ни одного дома, который бы она не обошла вместе с сыном Михаилом. Так рождалась

Ада Райчонок у картины Владимира Крука «Девочка из 41-го».



экспозиция уникального Музея искусства и этнографии имени Язэпа Дроздовича. Он находится в старинном особняке, отремонтированном, кстати, тоже ее руками, руками ее сына, других энтузиастов. Здесь и керамика, и плетение, и красивая мебель, и кухонная утварь — все, чем был богат белорусский дом.

Ада Эльевна была инициатором открытия Дроздовичской художественной галереи. Она перестала работать из-за недостатка средств. Или из-за недостатка внимания к культуре. Картины оттуда стали основой галереи, открытой в 2005 году в частном Литературно-художественном музее имени Михаила Райчонок.

Ада Райчонок — организатор многих пленэров, посвященных Язэпу Дроздовичу, другим выдающимся художникам, писателям Беларуси. Она организовала Пленэр художников, посвященный памяти жертв Холокоста. Он проходил в год 60-летия разгрома немецкого фашизма и окончания Второй мировой войны. Художники разных национальностей, проживающие в Беларуси, откликнулись на это предложение и приехали в Германовичи и Лужки. По итогам пленэра Ада Эльевна организовала выставку «Слезы памяти», которая экспонировалась во многих городах Беларуси. Одна из картин художника Владимира Крука называется «Девочка из 41-го». На ней изображена Ада Райчонок.

— Идею этого пленэра и выставки я вынашивала десять лет. Ведь я сама была малолетним узником гетто, пережила и ужасы фашистского концлагеря. Забыть эти годы невозможно. Картины издевательства над евреями до сих пор стоят у меня перед глазами. Я хочу, чтобы явление, подобное Холокосту, больше никогда не повторялось. А для этого нужно о нем рассказать как можно большему количеству людей, особенно молодому поколению.

Пленэр, посвященный памяти жертв Холокоста, проводился еще несколько раз, Ада Эльевна планирует и нынче летом пригласить к себе художников.

— Не найду финансовой помощи, — сказала она, — размещу людей по домам, еду приготовлю сама. Все равно соберемся. Приедете?

Как можно отказать такому неравнодушному, энергичному человеку?..

Режиссер Владимир Колас в 2009 году снял про Аду Райчонок фильм «Галерея Ады», который прошел по телеэкранам десятков стран мира и получил несколько престижных премий.

В 2010 году Ада Эльевна стала лауреатом премии имени Василя Быкова «За свободу мысли».

Буквально через неделю после ее 75-летия я побывал в Германовичах. Мы встретились с Адой Эльевной. Как обычно, пили чай с пирогами, и она рассказывала мне:

— Во время своих экспедиций мы ни разу не встречались с предметами еврейской культуры. Это очень странно. Здесь жило много евреев. Сохранились еврейские дома. Аккуратенькие, из красного кирпича (были и деревянные, но до нашего времени не уцелели), они до сих пор украшают Лужки. Сохранились рассказы людей, воспоминания, легенды, предания. А предметов, которые могли бы стать экспонатами музея, мы так и не встретили. А может быть, плохо знаем еврейскую культуру, поэтому ничего не увидели? Я очень хочу, чтобы в Лужках, в школе, где учился Элизер Перельман, открылся еврейский историко-этнографический музей. В память о маме я делала музей Язэпа Дроздовича, в память об отце, погибшем на фронте, хочу открыть музей Элизера Бен-Иегуды.

Этого же очень хотел ее сын Михаил Райчонок. Настоящий патриот, он делал для блага своей земли все, что был в состоянии сделать. Хотел провести научно-практическую конференцию, посвященную знаменитому земляку, открыть выставку художников, отремонтировать здание старой еврейской школы. Уже и проект написал, и собирался отправить в один из фондов. Был уверен, что примут благожелательно и помогут...

Михаил Райчонок умер в первых числах января 1999 года. Ему не было еще и тридцати...

Называя имена людей, которые хотят написать подлинную историю родного местечка и увековечить ее, непременно вспоминаю полочанина Эдмунда Норбертовича Гирина. В Лужки, в родные пенаты, приезжал на лето отдохнуть от городской суеты. Загорелся однажды Эдмунд Норбертович идеей проложить

через Лужки Германовичи «межконфессиональный», как он его назвал, туристический маршрут. Будет, что показыватьлюдям, интересующимся и белорусской, и еврейской, и польской культурой.

Многолюдного туристического маршрута до сих пор нет, но в Лужки и Германовичи, особенно в летние месяцы, все чаще приезжают на машинах и велосипедах студенты и люди более солидного возраста, интересующиеся историей Беларуси, желающие увидеть место, где родился человек, возродивший иврит, и те, кто просто хочет отдохнуть вдали от шума городского на лоне красивой природы.

В 1996 году в районном центре Шарковщине проходил слет краеведов. Его участникам необходимо было рассказать об истории двух населенных пунктов. Команда Шарковщинского района выбрала Лужки и Германовичи. Участники подготовились и рассказали все обстоятельно. Но ни слова не было сказано о евреях, которые здесь жили. Ребят не за что винить. Они добросовестно проштудировали учебники, книги, которые нашли в библиотеках, но слово «еврей» из этих изданий было убрано задолго до их рождения. После слета краеведов Ада Эльевна Райчонок решила написать статью.

«От первой четверти XVI века до 1569 года встречаются известия о сдаче в аренду евреям таможен, откупов в Глубоком, Друе, других местечках. Кстати, интересный материал “Евреи на Глуботчине” подготовила краевед из Глубокого И. Бунто. После присоединения к России наши земли вошли в так называемую черту оседлости, вне пределов которой царское правительство запрещало селиться евреям. Большинство их жило в местечках, меньше – в деревнях. Занимались ремеслами, торговлей, мелким предпринимательством. Жили замкнутыми территориальными общинами-кагалами. В Шарковщине насчитывалось 472 еврея, в Германовичах – 166, в Лужках – 458. Знаю, что жили они в Йодах, Семеновичах, Шкутиках и других деревнях...

Евреи были хорошими мастерами. Умели ценить профессиональное мастерство, знали, что хорошую вещь всегда купят и слава далеко пойдет. До сих пор вспоминают жители Лужков те

изделия, которые сегодня уже не встретишь. Помнят часового мастера Грикинера, парикмахера Герцика и портниху Зелду Нахман. А сколько лавок было в Лужках! Хозяева их часто отдавали товар на веру, то есть торговали в долг. Старались жить те люди по-человечески, поэтому и добрую память оставили о себе.

В Германовичах самая богатая семья Калмановичей владела большими земельными угодьями. Самый большой магазин держали Французовы, аптеку – Сосновики. Рабинович Абрам хозяйствовал в кузне, делал подковы для деревенских коней, другие необходимые вещи. Его дочку Розу знали как хорошую портниху. Среди евреев были и богатые, были и бедняки, которые, чтобы прокормить семью, брались за любую работу».

*«Народное слово», 29 февраля 1996 г.
А. Райчонок, «Жили евреи на Шарковщине».*

Много интересных историй о жизни евреев в Германовичах я узнал в свое время от Иосифа Семеновича Сосновика – сына того самого аптекаря, о котором упоминает Ада Райчонок. Он долгие годы учительствовал. В середине девяностых годов уехал к детям в Израиль. Иосиф Семенович умел рассказывать с неподражаемым местечковым колоритом.

– До войны в Германовичах жило 50 еврейских семей, или что-то около 350 человек. Жил очень богатый еврей Иосиф-Срол Сосновик. Он владел 420 гектарами земли, 350 гектарами пахотной и 70 гектарами леса.

Однажды Сосновик поссорился со своим племянником Калмановичем. Калманович подкупил чиновников и отобрал у Сосновика 50 гектаров земли. После этого Иосиф-Срол не захотел больше молиться с Калмановичем в одной синагоге и построил еще одну, на другой стороне реки Дисны. Кстати, первая синагога в Германовичах была тоже построена за его деньги.

Иосиф-Срол Сосновик отдал кусок своей земли и под еврейское кладбище. Это было в начале XX века. Смотрел сначала за кладбищем сам хозяин земли, потом его сын Рафаил.

– Немного земли я дал под кладбище, но на сто лет хватит, а там видно будет, – говорил Иосиф-Срол.

Последнее захоронение на Германовичском кладбище было сделано в 1943 году, когда полицаи расстреляли аптекаря Хона-Гирша Сосновика, жену Мину и сына.

В 1973 году местный агроном Иван Новик подогнал к старому еврейскому кладбищу трактор и приказал:

– Ровная земля. А камни скидывай в ручей.

Сейчас на этом месте колхоз сеет хлеб...

В тридцатые годы в Германовичах насчитывалось без малого 2000 жителей. В большинстве это были малообеспеченные люди, жившие от ремесла, мелкой торговли, аренды земли, извоза и сам Бог знает чего еще. Среди них немало нищих семейств. В их домах-хижинах не было мебели, постели, посуды, буквально ничего, кроме грязи, голода, холода, болезней и ужасной вони...

На основании решения местного кагала, семьи эти, точнее дети этих семейств, подкармливались более богатыми поочередно: одну неделю у одного, вторую – у другого и т.д. Дети бедняков с мисками и кружками бегали по улицам местечка. Школьники ежедневно во время большого перерыва питались в школе, за счет гмины (волости).

Нищета не была участью лишь только евреев. В таком же положении находилось много христианских семейств.

Эти факты взяты мной из рукописной книги, изданной тиражом всего в один экземпляр не писателем, не журналистом, а простым пенсионером, бывшим рабочим одной из крупнейших польских судоверфей в городе Гданьске Франтишком Кунцевичем. Книга, озаглавленная «Мои детские воспоминания о своих односельчанах-евреях из местечка Германовичи за период 1931–1943 год», написана в 1996 году специально по просьбе Ады Райчонок.

Франтишек Тимофеевич Кунцевич родился в Германовичах в 1928 году и покинул родные места 15-летним юношей, ушел воевать в партизанскую бригаду Гиля-Родионова.

«По тогдашним польским государственным праздникам: 3 Мая (День Конституции) и 11 ноября (День Независимости Польши), можно было во время торжественного парада наблюдать, как после шествия всех колонн легально действующих польских организаций проходила также хорошо построенная, большая

колонна одинаково обмундированной еврейской молодежи под своим флагом, почти идентичным сегодняшнему флагу Израиля, — вспоминает Франтишек Кунцевич. — Описывая этот факт, необходимо вспомнить, что на почетной трибуне, которая всегда устанавливалась у памятника Ю. Пилсудскому, среди представителей местных властей, принимающих парад, присутствовали главы всех вероисповеданий: ксендз, раввин и поп».

Интересные были местечки: Лужки, Германовичи. Колоритные, своеобразные. А какие люди здесь жили! Персонажи драматических произведений. Так и просились на сцену. Жаль, не было рядом настоящего писателя.

Бык Арчик — красивый веселый парень, любимец женщин. Умел выпить и закусить, даже салом с колбасой, что вводило в негодование стариков. Занимался арендой садов и торговлей фруктами. Активно участвовал в работе добровольной пожарной охраны в должности заместителя коменданта. Кстати, среди «добровольных» пожарников была половина евреев. На мундире и фуражке Арчик носил две звездочки. После 17 сентября 1939 года, то есть дня присоединения земель Западной Белоруссии к Советскому Союзу, во время массовых арестов «неблагонадежного элемента» Арчик был арестован. Кто-то донос, что он был польским офицером, и приложил фотографию в пожарной униформе.

Бейба — сын Шлемы. В довоенное время был членом БУНДа. После 17 сентября 1939 года вступил в комсомол. Во время войны сражался в партизанском отряде «Спартак». Погиб в бою под Старой Вилейкой.

Бимбот — после 17 сентября 1939 года писал на людей доносы за те обиды, что нанесли ему за всю жизнь.

Младший сын Иосифа Сосновика — Мунька — чудаковатый книголюб, читавший сутки напролет.

Аптекарь Сосновик. До 1939 года его выбирали депутатом в гмину (волость). Никто не может вспомнить ни одного случая, чтобы аптека была закрыта по болезни или по каким-либо другим причинам. В день и в ночь, по будням и праздникам, в погоду и непогоду — всегда приходил он на помощь нуждающимся. Не

было случая, чтобы когда-либо кто-либо вышел из аптеки Сосновиков без выписанного врачом лекарства и необходимого совета. Даже тогда, когда у посетителей не было ни гроша за душой.

В довоенных Германовичах одной из самых распространенных фамилий была Сосновик.

Война разрушила мир еврейских местечек, оставив от довоенных Лужков и Германовичей лишь воспоминания.

Вот что пишет об этих страшных днях Франтишек Кунцевич: «Пока через местечко проходили все новые и новые немецкие фронтовые части, не было никакой власти. Часть местного населения, поощряемая немецкими солдатами, занялась грабежом складов сельпо и некоторых еврейских домов, оставленных хозяевами. Некоторые евреи нашли для себя надежные убежища по отдаленным деревням и лесам. Мародеры брали все, что только попадало им под руки. Скоро присоединились к ним крестьяне из окружающих и даже отдаленных деревень...

Оставшиеся в местечке евреи были настолько перепуганы и измучены немецкими преследованиями, что попрятались по уголкам и почти вовсе не встречались. Однако раввин и другие набожные старики, ни на что не обращая внимания, считали своим долгом ходить в синагогу... Все они носили большие бороды и, как только показывались на улице, сразу становились объектом заинтересованности немцев. Их задерживали, фотографировали, старались опозорить и поиздеваться над ними. Часто, громко смеясь, рвали на куски их пейсы и бороды или жгли их зажигалками...

Не помню точного числа, но это было, кажется, в первой половине августа 1941 года. В Германовичах задержалась какая-то немецкая часть, и ее командир потребовал, чтобы на рынке собрались все жители местечка, и отдал распоряжение своим солдатам проверить выполнение приказа. Через полчаса, когда на рынок согнали всех, старых и малых, было объявлено, что в течение двух часов все евреи-мужчины, если хотят, чтобы они сами и присутствующие здесь их жены и дети остались живыми, разобрали до основания находящуюся рядом синагогу, и прежде всего, очистили ее от всего имущества, книг и предметов культа, которые следовало сложить на рыночной площади в

одну кучу и собственноручно поджечь. Надо сказать, что синагога была обширной, имела кирпичные стены, полы, потолки и крышу из крепкого дерева. Не забыть до сих пор той смертельной тишины, которая установилась, когда пани Ида переводила слова того приказа...

Естественно, что не выполнить приказ евреи не могли. Рядом были жены, дети, родители. И им грозила мученическая смерть.

Осенью через Германовичи проезжали немецкие солдаты, относящиеся к технической части "Люфтваффе". К ним подошли две женщины, из местных, занимавшиеся изготовлением самогона, и позвали с собой. Через некоторое время солдаты вернулись пьяные и, смеясь, подошли к находящимся возле склада новым телефонным столбам. Там, по приказу офицера, забросили себе на плечо один телефонный столб и пошли по улице, где жили евреи. Задержались возле дома Руманишек, по команде одновременно повернулись и с разгона этим столбом начали разбивать и разваливать дом замечательных женщин...

На другой день те же немцы приехали на Лужецкую улицу и потребовали от евреев принести им все шубы, тулупы, полушубки, имеющиеся у них. Якобы, это необходимо для солдат Ленинградского фронта... Мы увидели четырех мужчин, несущих с большим усилием охапки затребованной одежды, и сзади в каком-то отдалении шли плотной толпой их жены и дети, а еще дальше за ними христиане, возвращавшиеся из костела. Немцы приказали погрузить одежду на одну из стоящих машин. После этого стали спрашивать фамилии пришедших, и когда оказалось, что среди них нет того, кого они затребовали, начали бить и издеваться под дикие вопли и плач жен и детей, умоляющих палачей помиловать невиновных. Немцы еще больше разъярились и вырвали из забора здоровенные палки. Приказали своим жертвам на четвереньках ползать по улице, глотать дорожную пыль, а сами в это время пинали их как попало и изо всех сил, ломая палки об их спины и головы. Длилось это издевательство, пока палачи совсем не обессилели. Тогда под дикий плач женщин немцы приказали своим жертвам лечь под колеса одного прицепа, а шофер завел мотор и начал

потихоньку наезжать на лежащих людей. От ужаса все онемели. Наконец, немцы еле живым, истекающим кровью жертвам приказали погрузиться в прицеп и быстро увезли в сторону Лужков. На другой день в местечке узнали, что в Лужецком лесу возле дороги нашли тела Меира Быка и одного из братьев Перец.

В начале лета 1942 года евреев согнали в гетто Шарковщины. Но многие прятались в лесах или у местных жителей. 18-летний Давид, сын калеки Зельды по фамилии Резник, и 10-летний мальчик, сын портного, шли по улице. Их увидел полицейский по прозвищу Кот или Хармовка, его настоящие имя и фамилия были Вацек Рубникович. Он снял винтовку и задержал их. А потом приказал идти через мост на левую сторону реки. Когда сошли с моста, он приказал ребятам свернуть влево. И метров через пятьдесят застрелил обоих. Никто в это не верил. Мы побежали смотреть и действительно нашли тела убитых.

Через некоторое время привезли в местечко на подводе тело одного из местных полицейских. Раньше он был сторожем на мосту. Официально было объявлено, что полицейский утонул в Деснянке, где-то возле Премьян. Но потом пошли упорные слухи, что он был утоплен евреями, скрывающимися где-то рядом. Подтверждало этот факт и то, что немцы насторожились. Достаточно было малейшего повода, как из Глубокого или из Шарковщины приезжали машины, полные карателей. Чаше наклеивались немецкие объявления со строжайшими угрозами в адрес тех, кто помогает или прячет евреев, сотрудничает с бандитами и диверсантами (так называли партизан)».

— Я не раз слышала о том, что было здесь в годы войны, — рассказывала Ада Райчонок участникам экспедиции, организованной Музеем евреев Польши. Я вел это интервью с Адой Эльевой. — Были рассказы, которым не хотелось верить. Но из истории не выбросишь ни одного факта.

Немцы согнали евреев в гетто. Помогали им в этом местные, полицаи. Немцы не знали, кто еврей, кто не еврей. Без услужливых подсказчиков не обошлись бы..

Сын аптекаря Сосновика — Борух до войны был студентом Варшавского медицинского института. После сентября 1939 года,

когда немцы оккупировали Польшу, жил у родителей, а после июля 1941 года прятался в этом же доме. Он видел, как немцы и полицаи во время одной из облав избивали до смерти палками стариков, мужа и жену. Однажды решил убежать из Германовичей и его застрелили.

Я собирала материалы о Холокосте в Германовичах, составляла списки расстрелянных, в них 293 человека.

Это более полный список, чем был составлен следователями Государственной Чрезвычайной комиссии, расследовавшей преступления немецко-фашистских захватчиков. В том списке, составленном в апреле 1945 года, – 270 человек.

«Акт о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Германовичского сельского совета.

...В сентябре 1941 года по распоряжению Глубокского гебитскомиссара были согнаны в м. Шарковщину 60 еврейских семей, в общей численности 270 человек. которые после всяких мучений и издевательств в мае месяце 1942 года в числе других евреев на территории гетто были зверски истреблены».

*«Память. Шарковщинский район»,
Минск, БЕЛТА, 2004 г., с. 225.*

Жил в Германовичах 16-летний Миша Мильнер. У Мильнеров была большая и состоятельная семья. Как только немцы подошли к Германовичам, он сел на велосипед и поехал на восток. Добрался аж до Смоленска. Так и спасся. А родители, братья и сестры – десять человек, доверились хуторянину, довоенному знакомому Сергею Дементьеву. Отдали ему все сбережения, чтобы он их спрятал. Хуторянин забрал деньги, золото и выдал Мильнеров немцам. Их расстреляли прямо у дома Сергея Дементьева. Потом погрузили, как бревна на телегу, и повезли. У дочерей Мильнера были длинные-длинные косы, и эти косы тащились по земле. Из-под расстрела убежала только сестра Эдля.

«Когда немцы стали уничтожать гетто в Германовичах, Эдля Мильнер прибежала на хутор к Ефрему Савельевичу Иванову и попросила ее спрятать. Ей повезло. Она попала к хорошим и честным людям. Ее спрятали, кормили, поили.

...И хотя Ефрем Савельевич никому не рассказывал о том, что прячет у себя еврейскую девушку, злые языки начали болтать об этом. А потом кто-то донес в управу. Нашлись добрые люди, они предупредили Иванова, что к нему на хутор нагрянут с облавой. Эдлю успели перепрятать буквально за несколько минут до того, как в дом ворвались немцы. Девушка пряталась в жите, возле хутора. Туда ей носила еду, одежду хозяйская дочь Анна. Потом еврейскую девушку спрятал в своем сарае племянник Ефима Савельевича – Аликархий.

Как только в окрестностях Германовичей появились партизаны, Эдля Мильнер ушла в лес. Там она оставалась до конца войны».

Газета «Хаверим», № 8, 1998 г., Ада Райчонок, «Праведники».

В конце сороковых годов Эдля Мильнер уехала в Израиль. Рассказывают, что, уезжая из родных мест, она очень просила Ефрема Савельевича Иванова отпустить с ней его дочь Анну, которую она хотела забрать с собой в Израиль и заботиться о ней, как о дочери. Отец не согласился...

Михаил Мильнер после войны в течение двадцати пяти лет был председателем колхоза. Выйдя на пенсию, тоже уехал в Израиль, к сестре.

Некоторые истории военной и послевоенной поры сегодня стали трагическим фольклором этих мест. Пожилые люди делятся воспоминаниями, и не знаешь – это правда или вымысел.

Мне не раз рассказывали, как в первые послевоенные годы евреи находили тех, кто выдавал их родственников, друзей, участвовал в грабежах, и устраивали самосуд, мстили за предательство. Вот один из таких рассказов.

Когда германовичских евреев повели на расстрел, из толпы убежал 7-летний мальчик. Он пришел на хутор и попросил спрятать его. Хуторянин убил мальчишку. Люди знали об этом, но молчали, да и доказательств никаких не было. Однажды ночью на хутор пришли евреи и устроили самосуд, убили хозяина дома. Назавтра жена, похоронив его и ни часа не оставаясь, уехала, больше ее в этих местах никто не встречал.

Яков Сосновик был последним еврейским ребенком, родившимся в Германовичах. Это произошло 11 августа 1941 года. Его родителями были уже известный нам Иосиф Сосновик и его жена Еха Абрамовна. И хотя учредители «нового порядка» запрещали евреям пользоваться больницами, даже заходить туда считалось большой провинностью, Еха Абрамовна рожала мальчика в больнице. Помог врач Герасимович.

Мальчику дали имя Хона-Янкеф.

«К тому времени все уже понимали, что оказаться в гетто — значит обречь себя на верную гибель. Симха Сосновик поехал к бывшему войту (начальнику волости) Ромейко и попросил его поехать в деревню Слободка, разыскать Марию Леванович и рассказать ей обо всем. 18-летняя девушка после коротких раздумий согласилась взять мальчика к себе. Иосиф Семенович и Еха Абрамовна Сосновики в это время прятались у знакомых на хуторах, в лесу. Мария Леванович с мальчиком сначала поселилась у Ромейко. Соседям рассказала, что ребенка нашла с парнем, который погиб на войне. А малыш вскоре стал называть девушку мамой.

...Один месяц Мария пряталась на хуторе у лесника Чернявского. Наконец, в Большом селе Сосновики договорились с Александром Кривко.

Потом семья Сосновики ушла в партизаны. Иосиф Семенович был политагитатором в партизанском отряде 4-ой Белорусской партизанской бригады. Его жена Еха и отец Симха — медицинскими работниками в этом же отряде.

Весной 1944 года фашистское командование готовило блокаду партизанских соединений. Большое село, где прятались Мария с Янеком, было как бы промежуточной зоной между немцами и партизанами. Ночью хозяевами были одни, днем — другие. Командир партизанского отряда Горбатенко и комиссар Никитин (а только они в отряде знали, где прячется ребенок Сосновики) вызвали Иосифа Семеновича и предложили отправить мальчика самолетом на Большую землю. Все были согласны, но отправить ребенка не успели. Начались бои.

Мария Леванович с Янеком снова переходят к Чернявским, потом к Николаенкам в деревню Панелы (Николаенок



Семья спасенного Якова Сосновика (внизу справа) и Праведницы Марии Казаченок (средний ряд в центре). Глубокое, 1996 г.

все годы войны прятал евреев, но брал за это деньги, и немалые...)

Потом пришло освобождение».

*М. Рывкин, А. Шульман, «Породненные войной»,
Витебск, 1997 г., с. 22–24.*

Так остался жить на белом свете маленький мальчик, у которого было сразу три имени: Хона-Янкеф, Янек, Яков Сосновик. Он вырос и стал хорошим врачом. Работал в Новополоцке. Часто приезжал в Германовичи. Помогал многим людям. А вот себе помочь не смог. Яков Сосновик прожил чуть больше 60-ти лет.

Мария Францевна Леванович (Казаченок) в послевоенные годы жила в поселке Зябки Глубокского района. Ей было присвоено почетное звание «Праведник Народов Мира». Марии Францевны уже тоже нет с нами.

Сегодня в Германовичах и Лужках ничего не напоминает о еврейских страницах истории. А пройдет еще двадцать-тридцать лет, и, как знать, вспомнит ли кто-нибудь о том, что жили здесь когда-то евреи?

«Боже, благослови Америку»... и не забудь про Толочин

В начале девяностых годов я узнал, что небольшой белорусский городок Толочин – родина великого американского джазового музыканта и композитора Ирвинга Берлина.

– Это же может стать туристическим центром, – подумал я. – И сюда с интересом приезжали бы группы из разных стран мира, и среди них, безусловно, нашлись бы спонсоры. Но для этого нужно сделать хотя бы один шаг навстречу туризму. Представляете, в полутора часах езды от Минска появится Дом-музей всемирно известного музыканта. И соответствующая реклама будет сделана, и сувенирная продукция подготовлена. Гарантирую интерес американцев и любителей джазовой музыки из разных стран. Тем более, что еще полтора часа езды, и вы в Витебске, где кроме всего прочего, Дом-музей Марка Шагала. Заманчивый туристический маршрут.

Весь мир знает, как американцы гордятся своим флагом, гимном, государственной символикой. Песню Ирвинга Берлина «Боже, благослови Америку» американцы считают вторым гимном страны. 11 сентября 2001 года, сразу после совершения чудовищного террористического акта, в результате которого погибло более трех тысяч человек, – члены конгресса и сената США экстренно собрались, чтобы обсудить ситуацию. После речей зал замер, многие шепотом читали молитву в память о погибших. И вдруг раздался голос одного из сенаторов: «God Bless America Land that I love...» И сотни людей подхватили: «Боже, благослови Америку, землю, которую я люблю...» Зазвучала песня, которая стала неофициальным гимном США. Американцы пели ее на фронтах Второй мировой войны, в дни национальных праздников и трагедий. Джаз и вовсе музыкальный символ США. Так вот, и к песне «Боже, благослови Америку», и к становлению джаза самое непосредственное отношение имеет Ирвинг Берлин.

Будущий классик американской музыки родился в местечке Толочине в семье Мойши и Леи Бейлин в мае 1888 года и получил при рождении имя Израиль. В семье было восемь детей.

Отец подрабатывал канторским пением в синагоге. Когда мальчику было пять лет, семья перебралась в Америку. Тогда многие еврейские семьи искали счастье за океаном. Кто-то нашел его, но Мойша Бейлин был не из их числа. Он много и трудно работал. И, не выдержав всех потрясений, вскоре умер.

Вокруг биографии Ирвинга Берлина ходит много разных разговоров. Впрочем, сам музыкант не раз давал для этого основательные поводы. Когда американский режиссер Стивен Спилберг, собиравшийся в 1980-х годах снимать кино об Ирвинге Берлине, в интервью спросил Ирвинга о месте его рождения, в ответ услышал: «В Тобольске», хотя ранее в 1930–1940-х годах Ирвинг заявлял, что родился в Могилеве.

Дочь музыканта Линда Луиза Эммет, живущая во Франции, которая в 2003 году побывала в Тюмени на праздновании 115-й годовщины со дня рождения Ирвинга Берлина, заявила, что ее отец родился в Тюмени. В краю нефтяников и газовиков умеют хорошо принимать гостей, и, возможно, такой ответ был связан с сибирским гостеприимством.

«Американские биографы свет на родство Берлина с Толочином проливают выразительнее: “...будущий классик песни, в честь которого в 2002 году была выпущена почтовая марка США, родился в местечке Толочин Могилевской губернии (сейчас Витебская область Беларуси) в семье Мойши и Леи Бейлин в мае 1888 года, получил имя Израиль... В 1893 году семья переехала в Нью-Йорк. Отец, приучивший мальчишку к пению, вскоре умер...” Другие источники местом рождения Ирвина Берлина называют Тюмень. А в Толочин, мол, будущий композитор попал уже после Сибири. Но даже в этом случае биографы пишут, что в Соединенные Штаты семья Бейлина уехала из местечка Толочин.

Как бы то ни было, ни один из исследователей не отнимает у Толочина права на причастность к судьбе Бейлина-Берлина.

Где точно был дом Бейлиных? Сейчас вряд ли возможно это установить».

Карлюкевич Алесь, «Вся Америка хором пела песни толочинского парня», <http://tolochin2006.narod.ru/Karlukevich.htm>

Дальняя родственница Ирвинга Берлина – Зоя Сульман, живущая ныне в Великобритании, написала для журнала «Миш-поха» очерк о своей семье «Одна история в двух частях». Она утверждает, что место рождения Ирвинга Берлина – белорусский городок Толочин. Хотя, безусловно, только после того, как будут найдены документы, в частности, записи казенного раввина, можно будет говорить о достоверности именно этой версии.

«Когда я была маленькой, родители часто летом отвозили меня погостить к бабушке, Эте Давыдовне Бейлиной (по мужу), которая жила в Толочине. У бабушки был старинный альбом с семейными фотографиями ее и дедушкиных родственников. Я очень любила подолгу рассматривать эти фотографии, слушая бабушкины рассказы о жизни и судьбах людей, запечатленных на этих снимках.

Однажды меня привлекла фотография пожилого мужчины в странной шапочке, и я попросила бабушку рассказать о нем.

– Это дядя твоего дедушки Соломона – Моисей Бейлин, который очень хорошо пел и был кантором Толочинской синагоги, – начала свой рассказ бабушка. – Его дом был недалеко от синагоги. В то время в Толочине случались погромы, и однажды ночью, в 1893 году, дом Моисея, где он жил со своей женой Лией Липкиной и восемью детьми, подвергся нападению и был сожжен дотла. На следующее утро родственники, пережившие погром, пришли к дому в надежде найти хоть кого-нибудь из них в живых, но не смогли обнаружить среди руин даже останков. Семья исчезла бесследно. И тогда решили, что все они сгорели заживо вместе с домом. Поскольку и позднее об их судьбе ничего не было слышно в России, эта страшная история многие десятилетия жила в семьях Бейлиных и их потомков, свидетельствуя о тяжелом положении евреев в России...

В 1941 году началась война с Германией, но, к большому счастью, мой отец успел вывезти бабушку в Москву буквально за несколько недель до захвата Толочина немецкими фашистами. В привезенных бабушкой вещах обнаружился и любимый мной альбом, и теперь уже не только бабушка, но и мама (Геня Соломоновна Бейлина до замужества, Г.С. Косая – по мужу),

рассматривая вместе со мной старинные фотографии, рассказывала семейные истории, время от времени возвращаясь к трагедии семьи кантора Моисея Бейлина.

Прошло много лет, я сама уже, став бабушкой, рассказывала различные истории из собственной жизни своему внуку в Новой Зеландии, куда мы переехали жить в 1995 году. И вдруг однажды, по радио “Свобода” в передаче Дмитрия Савицкого об американском джазе, я услышала его рассказ о творчестве и судьбе знаменитого американского композитора, еврея российского происхождения, Ирвинга Берлина (Израиля Бейлина). Слова о том, что отец Изи был в 1890-х годах кантором, в Толочине, вызвали у меня в памяти бабушкины рассказы о трагедии, случившейся в то время в Толочине, и тут же мелькнула догадка, что кантор Моисей — одно и то же лицо в двух рассказах и, значит, его семья не погибла в огне в ту страшную ночь, а спаслась чудесным образом, и его сын, Изя Бейлин (Ирвинг Берлин) — двоюродный брат моего дедушки Соломона, прожил длинную и удивительную жизнь!

Чем больше читала я статей и материалов о нем, тем больше убеждалась в реальности своего предположения, а получив подтверждение от своих родственников из Франции (чьи предыдущие поколения эмигрировали в эту страну во время и чуть позже Октябрьской революции) о том, что им известно о родственных отношениях с семьей Ирвинга Берлина, я уже более не сомневалась, что он действительно наш родственник. В день того страшного погрома кантор вместе со всей семьей, очевидно, ночью, не сообщив никому, увел свою семью через границу. Они добрались до Антверпена и оттуда уехали на корабле «Rhyndland» в Нью-Йорк. Изе тогда было 5 лет».

Мальчишке пришлось узнать, что такое голод, безработица. Поначалу трудился в китайском ресторане. Потом стал петь на улице. Гонорар — несколько центов в день. Позднее биографы Ирвинга Берлина напишут: «Он занимался пением, чтобы выжить. Если пел плохо, приходилось голодать».

Девятнадцатилетний юноша пишет первую песню «Мери из солнечной Италии». А через четыре года создает композицию «Alexander Regtime Band». Так начинался американский джаз.

В 1918 году Берлина призывают в армию. В мире неспокойно. Ирвинг делает наброски песни «Боже, благослови Америку». Впрочем, тогда песне было суждено остаться в набросках. Зато известность получает композиция Ирвинга Берлина «Как ненавижу рано просыпаться». Гонорар — 150 тысяч долларов. Правда, композитор их не увидел. Деньги стали добровольным пожертвованием (добровольным ли?), пошедшим на обустройство военной базы. Во всяком случае, так официально числилось во всех документах.

К позабытой идее Ирвинг Берлин вернулся в 1938 году. В мире пахло войной. В Германии фашизм. В ночь с 10 на 11 ноября нацисты страшным погромом отметили очередную годовщину пивного путча. А уже днем 11 ноября по американскому радио прозвучала песня Ирвинга Берлина «Боже, благослови Америку». Ее исполнила Кейт Смит. Песню подхватили все Соединенные Штаты.

Гонорары за песню «Боже, благослови Америку» были баснословные. Ирвинг Берлин учредил Фонд песни. Все будущие гонорары завещал американской ассоциации скаутов. (Хотя бы на секунду вспомнил о маленьком белорусском местечке Толочин!).

Музыкант прожил 101 год. Написал более тысячи песен.

Каким же был Толочин во времена, когда здесь жили родители Ирвинга Берлина? Чтобы подробнее ответить на этот вопрос, расскажем об истории местечка.

«Во времена Речи Посполитой местечко Витебского воеводства Оршанского повета. Данные о евреях в Толочине встречаются уже в 1717 году. В 1766 году в Толочинском кагале и его парафиях числилось 648 евреев.

Ныне (1907 г. — А.Ш.) местечко Могилевской губернии Оршанского уезда. По ревизии 1847 года в Копыльском уезде имеются следующие «еврейские общества»: ... Старо-Толочинское в составе 1327 душ, Ново-Толочинское в числе 346 душ.

По переписи 1897 года в Толочине жителей 2614, из них 1955 евреев».

*«Еврейская энциклопедия» Изд-во Брокгауза — Эфрона,
С.-Петербург, 1907, т. XIV, с. 903.*

С 1792 года Толочин, к которому со временем прибавилось слово «старый», находился в составе Российской империи (с 1801 – в Оршанском уезде Могилевской губернии). Во второй четверти XIX столетия стал строиться Новый или Заречный Толочин. Он был основан на другом – западном берегу Друти и вошел в состав Сенненского уезда Могилевской губернии.

«С 1880 по 1905 год еврейское население города Толочин составляло более 70 процентов от числа жителей. Традиционным занятием местных евреев была торговля лесом, зерном, водкой, рыбой, кондитерскими изделиями, галантереей. Среди евреев были также отменные ремесленники: кузнецы, гончары, портные, сапожники, кожевники, парикмахеры, пекари. Занимались рыбной ловлей, извозом. Во второй половине XIX века в Толочине проводились три однодневные годовые ярмарки. К 1880 году действовала 71 деревянная лавка. В начале XX века получил развитие рыбный бизнес, но торговля зерном и лесом оставалась главной статьей дохода. Основным торговым путем для жителей Толочина с давних пор была дорога Москва – Варшава и река Друть. В нижнем течении она была судоходной. (Друть – от литовского “друтас” – широкий – А.Ш.).

В XIX веке в связи с развитием общероссийского рынка появилась потребность в новых видах коммуникаций. В 1866 – 1867 годах начались подготовительные работы по постройке Московско-Брестской железной дороги. В 1871 году вступил в строй ее Брестско-Смоленский участок. Дорога прошла в трех верстах от города. Это значительно оживило экономическое и культурное развитие Толочина. В 1897 году годовой товарооборот станции Толочин составил 12800 тонн леса и свыше 3000 тонн зерна. Кроме того, большая часть леса сплавлялась по Друти до пристани Прибор Могилевского уезда.

Давайте попытаемся заглянуть в Толочин года примерно 1880-го. Тогда здесь было 160 деревянных и 3 каменных дома, 110 из них принадлежали еврейским семьям.

Всего в местечке в 1880 году проживало 1119 евреев.

Известны фамилии крупных толочинских торговцев начала XX века. Бакалеей промышляли Гилей Ицков Алитиц, Сора

Лейзерова Кантарович, Злата Мейерова Изерлис. Керосином и сахаром торговал Залман Берков Шур. Льяняными изделиями – Израиль Мовшов Мерлис. Солью занимался Ицка Янкелев Димент, цветами – Гилель Евнов Крук. Среди крупнейших толочинских торговцев был некто Замель Шоломов Бейлин, владеющий бакалейным магазином. Возможно, родственник американского композитора Ирвинга Берлина (Изи Бейлина).

Российские власти прилагали немало усилий для военного и финансового развития этого региона. Были введены в строй новые коммуникации: телеграфная станция (1870); почтовая связь по дороге из Москвы до Бреста; участок дороги Рогачев – Толочин; реконструирована толочинская якорная стоянка».

*Анатолий Шнейдер, «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

В конце XIX – начале XX столетия Толочин – культурный и промышленный центр региона. Здесь действовали две начальные трехгодичные государственные школы, аптека, библиотека. Работали несколько небольших заводов, перерабатывавших сельскохозяйственное сырье, и стеклозаводы крупного промышленника, учредителя фирмы «Стекольные заводы Мерлис».

В Толочин приезжали люди из других местечек за товарами, здесь было много оптовых магазинов, лавок и ларьков, большая базарная площадь.

Ярмарки традиционно проводились во всех белорусских местечках. Для крестьян из окрестных деревень это была возможность реализовать в местечке выращенную продукцию, для ремесленников – продать тем же крестьянам свой товар. Те, кто был побогаче, совершали оптовые покупки и затем реализовывали купленное в других местечках, на других ярмарках и имели свой навар. Люди ждали ярмарки, как ждут праздник, – это была возможность встретиться, пообщаться.

Толочинские ярмарки проходили ежегодно: 9 мая – «Николаевская», 20 июля – «Ильинская» и 8 сентября – «Успенская». Они не имели всероссийского размаха, но и скромными их не назовешь. Приезжали продавцы и покупатели не только из окрестных

деревень и местечек, прибывали купцы и торговцы из Орши, Могилева. Продавали, кроме сельскохозяйственных товаров, домашнюю птицу, коров, овец, коз, был конный ряд, торговали сукном, тканями, посудой, упряжью, товарами для дома.

На ярмарках можно было услышать белорусскую, еврейскую, русскую, польскую, цыганскую, литовскую, латышскую, немецкую речь. Все отлично понимали друг друга. И после удачной покупки или продажи заходили в корчму, чтобы стаканчиком вина или чего-нибудь покрепче закрепить торговую сделку.

После установления Советской власти некоторое время ярмарки еще продолжались, но у них был уже не тот размах. Уходили на долгие десятилетия с белорусской исторической арены купцы, предприниматели, частные торговцы и ремесленники-единоличники, а вместе с ними заканчивали свой век и местечковые ярмарки — как экономическое, социальное и культурное явление.

Толочинские старожилы еще помнят торговые кирпичные ряды, размещавшиеся на месте современной центральной площади города. В этих рядах находились магазины и лавки — в основном, еврейские, а идиш был здесь языком межнационального общения. Сюда стремились прийти вместе с родителями местечковые дети. Развлечений в то время было немного. А в торговых рядах за грош можно было купить стакан сельтерской, пряник или конфету.

Торговые ряды использовались по своему назначению и в первые послевоенные годы.

Вспоминают старожилы и пожарную каланчу, с высоты которой, как на ладони, был виден город и его окрестности. Днем и ночью на каланче нес службу дозорный. В 1897 году в городе была создана пожарная дружина и в ней четыре отряда: лазальщиков, трубников, защитников и отряд по водообеспечению. У пожарников были хорошая выучка и дисциплина.

На площади проводились парадные сборы, учеба пожарных.

Кроме государственной, в городе действовала добровольная пожарная дружина.

Всегда приводила толочан в восторг игра духового оркестра на городской площади в дни праздников. Музыкантами были те же пожарники Якова Шура.

«На площади часто собиралась местная детвора и взрослые зеваки посмотреть пожарных. В блестящих медных касках и специальных костюмах они проводили парадные сборы и тренировки по тушению пожаров. Начальником пожарной дружины был фельдшер Яков Шур. Он не только командовал пожарной дружиной, но и был хорошим лекарем, которого уважали местные жители. Да и не только местные, многие приезжали к нему из окрестных деревень. Человек был авторитетный.

Добровольной пожарной дружине хватало работы. Пожары в деревянном городе — дело привычное. Очень часто ночью с каланчи, расположенной над главным выходом с базара, доносился колокольный звон, поднимающий жителей на тушение пожара».

*«Наша Талачыншчына», 5 марта 2005 г.,
Олег Плаксицкий, «Песчинка времени».*

Рядом с площадью в большом фруктовом саду находился Государственный банк — деловой центр Толочина. Сегодня трудно представить, но в те времена в небольших местечках порой совершались нешуточные сделки.

«Деловые люди подъезжали к банку даже в каретах, запряженных тройками и двойками лошадей. Приезжие останавливались в соседней гостинице. Она располагалась на втором этаже каменного двухэтажного дома. На первом этаже были аптека и мастерские. За гостиничным домом находилось частное еврейское училище, или начальная школа. Большой белый дом с другой стороны площади — это дом чиновника, за углом его была винная лавка, “монополька”. Такое название она получила из-за монополии государства на торговлю алкоголем. И в дореволюционном Толочине было много пьяных, иногда возникали драки, но особых побоищ не было. Всякое случалось, но не было то время таким жестокосердным. Трудным было, но не жестоким.

Основное население составляли евреи, белорусы, поляки. Но больше было евреев. Возле начальной школы находилась контора казенного раввина, там выдавались свидетельства о рождении, метрики, свидетельства о смерти и другие документы».

*«Наша Талачыншчына», 5 марта 2005 г.,
Олег Плаксицкий, «Песчинка времени».*

Сразу за Базарной площадью начиналась главная улица — Оршанская, теперь ул. Ленина. Здесь жили более состоятельные люди, а по вечерам любила гулять молодежь. Обычно прогулка завершалась в большом парке. Летом Толочин буквально утопал в зелени деревьев.

На Оршанской улице находились большая двухэтажная деревянная синагога и две синагоги поменьше, а заканчивалась улица православной церковью и церковными постройками. Для белорусских местечек такое соседство (прибавьте еще и костел) было тоже очень характерным.

«На первом этаже большой синагоги молились мужчины, здесь была бима, арон-кодеш и все необходимое для богослужения. Женщины молились на втором этаже. На синагогальном дворе происходил свадебный обряд. Сюда приводили жениха и невесту в сопровождении родных и знакомых, ставили свадебный балдахин (хупу) и проводили обряд обручения».

*«Наша Талачыншчына», 6 мая 2006 г.,
А. Шнейдер, «Шесть столетий вместе».*

Кантором какой синагоги был отец Ирвинга Берлина — Мойша Бейлин, пока установить не удалось. Предполагаю, что большой, в общине которой были более состоятельные люди. На их пожертвования содержались синагога, миква, хедер, различные благотворительные организации, выплачивалось жалование раввину, кантору. Общины небольших синагог не часто позволяли себе подобную «роскошь», ограничиваясь выплатой жалования раввину и меламеду (учителю).

Вероятно, и дом Мойши Бейлина находился недалеко от синагоги на Оршанской улице. К началу тридцатых годов, в разгар атеистической кампании, большую синагогу закрыли.

Вспоминает Белла Борисовна Каждан: «К началу 30-х годов синагогу закрыли, и на этом месте появился кинотеатр. Припоминаю, что евреи арендовали деревянные постройки под молельные дома. Один из них был в доме Ицика Качана на Никольской, другой – за мостом по Заречной улице, и третий – находился на улице Оршанской. Существовала в местечке до 1937 года и еврейская школа-восемилетка».

Геннадий Винница, «Горечь и боль», Орша, 1998 г., с. 140.

Улица Заречная (Зареченская), теперь ул. Энгельса, была одной из самых больших в городе. Ее можно было бы еще назвать улицей ремесленников. Здесь жили люди, зарабатывавшие на хлеб своими руками и знавшие цену каждой копейке.

«Начиналась Заречная улица недалеко от базара, пересекала Друть и тянулась в западном направлении, пересекаемая многими переулками и улицами. Здесь были почта и телеграф. Жили портные, сапожники, кузнецы. Освещали улицу керосиновые фонари, не все улицы были мощены, по бокам располагались деревянные тротуары».

*«Наша Талачыншчына», 6 мая 2006 г.,
А. Шнейдер, «Шесть столетий вместе».*

Исследователь К. Аникевич, издавший книгу о Сенненском уезде, о Заречном Толочине писал: «Благоустроенное местечко, имеющее привлекательный вид».

*К.Т. Аникевич «Сенненский уезд Могилевской губернии»,
Могилев, 1907, с. 144.*

Немного населенных пунктов удостоилось такой оценки этого человека.

В 1897 году в Заречном Толочине проживал 801 человек, из них евреев – 299. Евреям принадлежало 27 домов из 93, действовала синагога, в 1908 году – три синагоги. В феврале 1916 года в Заречный Толочин переселились 33 беженца-еврея из западных регионов страны. Царское правительство пыталось списать военные неудачи в Первой мировой войне на евреев,

обвинив их в шпионаже в пользу германских войск. Мол, язык идиш и немецкий язык схожи, они и сообщают обо всем неприятелю. А поэтому их следует срочно выселить из прифронтовой полосы.

В 1903 году в Толочине в образованной еврейской семье родилась Софья (Спринц) Львовна Рохкинд. Ее отец – часовой мастер, хорошо знавший ювелирное дело. Кроме идиша, он свободно владел русским, немецким и древнееврейским языками. Софья с детства росла «книжной» девочкой. Знала наизусть поэзию классиков ивритской литературы Бялика и Черниховского.

В 1920 году Софья поступила в Институт еврейских знаний в Петрограде. После его закрытия перевелась на еврейское отделение литературно-лингвистического факультета Московского государственного университета. В 1928 году начала работать в еврейском секторе Белорусской Академии наук, защитила кандидатскую диссертацию по поэтическим переводам А.С. Пушкина на идиш.

В годы сталинских репрессий из лингвистического отдела уцелели всего двое ученых – С. Рохкинд и Г. Шкляр. Еврейский сектор закрыли, а «уцелевших» перевели работать в институт белорусской литературы и языка. В 1939 году Софья Львовна совместно с Г. Шкляром завершила работу над идиш-русским словарем. Этот труд принес ей мировую известность.

В начале 1950-х, когда повсюду выискивали «беспачпортных» бродяг и безродных космополитов, Софью Рохкинд уволили с должности заведующей кафедрой, даже не скрывая, что сделано это для укрепления института кадрами коренной национальности. На возражение Софьи Рохкинд, что она «коренная, что все ее корни в Белоруссии», ей цинично ответили: «У вас не те корни».

Софья Львовна была добрым человеком, помогала всем, чем могла. У нее было много учеников. Она оставила хорошую память о себе у всех, кто ее знал.

Почти потеряв зрение, в 1996–1998 годах, Софья Рохкинд написала воспоминания о городе своего детства и юности – Толочине. Ей было 97 лет, когда она ушла из жизни.

«В мое время это было большое местечко, оно расположено на железнодорожной линии Минск—Москва, в 40 верстах от бывшего тогда уездным города Орши, большого железнодорожного узла. Считалось владением помещика Славинского. Население состояло в основном из евреев и белорусов, были также и поляки, но преобладали евреи. Близость железной дороги (3 версты) от местечка накладывала свой отпечаток на жизнь и занятия людей. Евреи занимались, главным образом, торговлей и различными ремеслами. В Толочин приезжали за товарами люди из других местечек, здесь было много оптовых магазинов, приезжали также по делам в разные учреждения — банк, нотариальную контору и др. Крестьяне из окрестных деревень привозили на продажу свои продукты и изделия — овощи, сено, дрова, деревянные и льняные изделия. Два-три раза в год были ярмарки-кирмаша, на них приезжали не только крестьяне близлежащих деревень, но наезжало много торговцев и покупателей из других городов. Крестьяне привозили на продажу свиней, поросят, разную птицу и продавали их тут же, у возов. Здесь можно было купить и корову, и лошадь, вокруг лошадей вертелось много цыган и приезжих. Приезжали деревенские девушки в нарядных платьях, с лентами в волосах, они разгуливали по базару и улицам с цветами в руках, парни играли на гармошках, выпивали у “монопольки” водки и другие напитки, бывало довольно много пьяных, иногда возникали драки, но я не вспоминаю каких-нибудь серьезных побоищ. Все было под недремлющим оком полиции в лице местного урядника и стражника. Было шумно и весело, шла бойкая торговля, все зывали к себе покупателей, расхваливали свои товары. Цыганки гадали молодым девицам. В кирмашах участвовало почти все местечко, кто продавал, кто покупал.

В Толочине было несколько больших улиц, которые пересекались переулками и переулочками. В центре была большая площадь, которая называлась Базарная площадь. Здесь было несколько рядов каменных лавок (магазинов), в которых торговали всевозможными товарами, в них помещались также некоторые большие мастерские — сапожные, кожевенные и др.

В переулках жило в основном белорусское население, у них были большие огороды, сады, сараи с коровами, лошадьми и свиньями.

Мы жили на Базарной площади. Базара в этой части площади не было, он находился дальше, за кирпичными лавками. Это было нечто вроде парадной площади. Здесь находились основные учреждения. В большом каменном очень красивом доме был Государственный банк.

...После революции произошла ломка всей жизни. Я хорошо помню Толочин, каким он был до революции и в первые годы после революции. Я уехала из Толочина в 1921 году после смерти мамы, приезжала домой каждое лето, пока там жили дедушка и бабушка и мои дорогие сестры, которые тоже после смерти бабушки уехали. Я помню каждую улицу, каждый дом. Перед моими глазами стоят, как живые, лица тех, кого я хорошо знала. Я вижу их в лавках, мастерских, на улицах, озабоченных заработками и будничными делами повседневной жизни. Я вижу их в праздничные дни, идущими в синагогу, по-праздничному одетыми, с просветленными лицам.

Но все это выкорчевано, уничтожено, стерто с лица земли, залито кровью и страданием. Перед моим мысленным взором возникают дорогие мне люди, которых я знала и не знала, в шеренге осужденных на смерть, топающих по улице под окриком злодеев, которые поторапливают их к могиле. Я вижу их изможденных, отчаявшихся, от всего отрешенных, без силы, без воли и надежды. Там нет моего отца и бабушки, они ушли из жизни, как полагается людям, но в моем воображении они среди этих мучеников. Я вижу сотни и тысячи таких же местечек, с живыми людьми, устоявшимся бытом, традициями, которых уже нет, от которых не осталось следов. Все они мне близкие, родные, милые моему сердцу. Страшно и больно вспоминать об этом».

*Воспоминания Спринцы Львовны Рохкинд
«Толочин – родина моя»*

<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/rohkind.html>

В 1939 году в Толочине проживало 6100 человек, из них 1292 еврея или 21,2 % от общего числа жителей города. Работали льнозавод, кожевенный завод, ткацкая фабрика и другие предприятия.

Евреи трудились на заводах, фабриках, в учреждениях, занимались различными ремеслами. Работали в торговле. Правда, многие, долгие годы державшие свои ларьки и магазины, так и не смогли понять сути государственной торговли.

«В 1928–1931 годах был организован еврейский колхоз “Юнген пуер” (“Молодой крестьянин”). Выращивали зерновые, овощи, занимались животноводством. В колхозе работали целыми семьями, в нем было 36 дворов. В числе колхозников были члены семей Аврутиных, Айзиковых, Болотиных, Бороды, Гильмана, Каждана, Кривошеева.

Израиль Абрамович Кривошеев работал молоковозом, доставлял молоко из Корольков на Пореченский маслосырзавод. Возглавлял хозяйство Моисей Семенович Борода. Он погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Были еврейские колхозы также в деревнях Багриново, Стулканы, Яново, Мешково».

*Анатолий Шнейдер, «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

...Мы приехали в Толочин. Свернули с центральной улицы и буквально через пятьдесят метров оказались в дачной тишине. Переулок Пушкина. Просторный деревянный дом, окруженный садом. По-моему, наша машина была единственной, кто заехал в этот райский уголок за весь день.

В гости к Лившицам собрались почти все евреи города, человек двадцать.

— Мы и раньше встречались, когда-то на свадьбах, а последние годы все больше на похоронах, — сказала Зинаида Максимова Борода, интеллигентного вида женщина, сообщившая, что ее дочь — моя коллега, работает в газете на краю света, в Норильске. Когда-то поехала за заработками и осела там. — Теперь, когда появилось Витебское еврейское благотворительное

общество, оно собирает нас, время от времени, вместе. Нам есть о чем поговорить. Но, конечно, интересно, когда приезжает новый человек. Послушать его. Мы оторваны от еврейского мира. Все происходит в больших городах.

Во время нашей коллективной беседы мы не раз коснулись еще этой темы. Причем, самых разных ее сторон.

Пятнадцать лет назад в автомобильной катастрофе погиб сын Софии Чехович, молодой двадцатилетний парень. София Моисеевна, не очень знающая законы иудаизма (да и откуда ей, выросшей в советской атеистической стране, их знать!), хотела похоронить сына по-людски, чтобы было, как у всех. Она пошла в православную церковь, к батюшке (тем более, что ее муж – белорус), и попросила отслужить заупокойную молитву.

Но православный священник отказался.

– Ваш сын некрещеный, – ответил он.

– А раввина, – продолжила София Моисеевна, – я в глаза не видела. Может, хоть кто-нибудь приедет, чтобы прочитать на его могиле молитву.

Сегодняшние раввины, во всяком случае, те, кого я знаю, отличаются от раввинов прежних времен, в первую очередь, тем, что когда-то раввины спешили туда, где собираются евреи, а теперь раввинов чаще всего можно увидеть там, куда приезжают богатые спонсоры. Впрочем, круг моих знакомых раввинов маленький, и, возможно, я заблуждаюсь, утверждая, что все стали очень практичными людьми.

Я рассказывал о журнале «Мишпоха», о наших поездках, встречах. И когда случалось произносить идишистское или ивритское слово, Леня Лившиц – хозяин дома (его уже лет пять, как нет с нами), тут же переводил его на русский язык, при этом начинал объяснять всем собравшимся значение слова.

Я чувствовал интерес и рассказывал с удовольствием. И только увидев в дверях координатора витебской благотворительной организации «Хасдей Давид», благодаря которой мы и отправились в дорогу, Романа Фурмана, развозившего посылки тем, кто не в состоянии самостоятельно ходить, понял: мое время истекло.

– Поехали дальше? – спросил я.

– Не торопись, – ответил он. – Из этого дома так просто, без обеда, не отпустят.

И действительно, после того как мы сделали коллективный снимок на память, хозяйка дома Раиса Ефимовна сказала:

– Прошу на кухню. Пообедаем.

Пока она раскладывала по тарелкам еду, я разглядывал портрет мальчика, который стоял на столе. Потом спросил у Лени:

– Кто это?

– Внук, – ответил Леня. – Но я его видел только на фотографии. Жена ездила в Израиль, встречалась с ним. А мне – не довелось.

У Лившицев трое детей. Сын с начала девяностых в Израиле. Дочь, та, что жила в Петербурге, сейчас в Германии. В Толочине остался сын. Судьба разбросала детей из одной семьи по всему миру.

Толочинские евреи, фото 2007 г.



Еврейское население маленьких городков – это люди в основном пенсионного возраста.

Если верить прогнозам демографов, то еврейское население Беларуси продержится еще лет сорок-пятьдесят. А для маленьких городков время «еврейского финала» уже наступило. Впрочем, еврейская история не подвластна никаким прогнозам, она парадоксальна по своей сути.

...Кормят в доме Лившицев так, что пальчики оближешь. Убежден, что и в Германии, и в Израиле дети часто вспоминают о маминой еде.

За столом говорили на разные темы.

Я поинтересовался, где трудились Лившицы до выхода на пенсию. Раиса Ефимовна ответила, что работала в буфете на вокзале, а муж ее был экспедитором.

Правда, потом, когда мы сели в машину, Леня сказал:

– Я всю жизнь был при коне. Кормил коня, а конь кормил меня. Отвезти, привезти, вспахать, пробороновать...

Мы поехали к памятнику, установленному на месте расстрела толочинских евреев. Небольшой огороженный участок земли. Внутри ограды растут сосны и стоит большая металлическая пирамида. На чугунной плите надпись на русском языке и идише: «Здесь покоятся жертвы немецко-фашистского террора: свыше 2000 человек еврейского населения города Толочин и окрестностей, расстрелянные 13 марта 1942 года. Вечная память погибшим!».

– Война, а кто же ее ждал? – сказал мне Леня Лившиц. – Хотя я тогда был пацаном, многого не знал. Помню, как плакали дома и все время повторяли одно и то же слово «война». Помню, как комсомольцы в клубе провели собрание и говорили, что «воевать будем на чужой территории», врага разобьем «малой кровью, могучим ударом». Повторяли все, что слышали тогда в песнях. А старики говорили, что, если даже немцы сюда придут, бояться их нечего. «Мы их видели в Первую мировую войну. Ничего плохого мирному населению они не сделали».

Была объявлена всеобщая мобилизация в Красную Армию. На защиту Отечества встали люди всех национальностей, те,

кто был способен носить оружие и не спрятался за чужую спину в трудную минуту. Среди тех, кто отправился на фронт, были и толочинские евреи.

«По неполным данным, более шестидесяти евреев города Толочина защищали Родину. В числе их трое из семьи Захара Бороды: Александр, Адольф, Роман; братья из семьи Израиля Кривошеева: Александр, Илья, Адольф, Мирон; из семьи Самуила Бороды – летчик-штурмовик Лазарь, артиллерист Ефим, радистка Соня; из семьи Адольфа Бороды: Захар, Моисей – участник Московской битвы; Илья и Ефим Борода; Борис и Давид Бляхманы; Иосиф и Давид Гензеры; Лазарь и Григорий Шпарберги; Муля и Григорий Быховские; Яша и Семен Метрики; Борис и Илья Рудштейны; Семен и Ефим Фейгины; военврач Лазарь и Захар Перченки; Лев и Иосиф Болотины; Илья и Семен Гуревичи; Исаак Ерманок, защитник Ленинграда; Исаак Ушвицкий; Захар Изрин; Илья Лившиц; Давид Хайкин и многие другие.

Не всем было суждено вернуться в родной Толочин».

*Анатолий Шнейдер, «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

Более крепкие и решительные люди уходили на восток. Проще это было сделать тем, кто был побогаче и имел собственную лошадь или купил ее в эти дни в окрестных деревнях. Кому-то помогли уехать извозчики артели гужевого транспорта Лазаря Менделькера. Сам Лазарь Вульфович прежде, чем уйти на фронт, отправил на восток свою семью.

«Наша семья, – вспоминает дочь Лазаря Менделькера Фаня, – была эвакуирована в Челябинскую область, где находилась с июля 1941-го по сентябрь 1945 года. Вернувшись с фронта, отец разыскал нас и вернул в Толочин».

Вот история еще одной толочинской семьи.

«28 июня 1941 года семья Израиля Абрамовича Кривошеева – жена Бася Адольфовна, дети Адольф, Семен, Мирон и Илья, на лошадях покинула город, захватив с собой самое необходимое. Их путь лежал на Смольяны, Дубровно, Ляды и далее

на Соловьевскую переправу на Днепре под Смоленском. Переправлялись на противоположный берег по наведенному понтонному мосту. Во время бомбежки переправы в суматохе потеряли сына — Абрама. Обошли Смоленск, пошли на Дорогобуш, Вязьму, Юхново. В Юхнове встретили Семена Бороду, Моисея Болотина, Анну и Марию Микульчик и других земляков, которые угоняли на восток стадо колхозных коров. От Юхнова двинулись на Калугу, Тулу, Рязань, Тамбов. Когда враг подошел к Москве, оставили лошадей и эвакуировались в Среднюю Азию. Убирали зерно, хлопок. Не выдержав голода, жары, непосильного труда, в феврале 1942 года умер отец, в сентябре 1943 года не стало матери. Всей семьей копали могилы с киркой и ломом — одни камни были, не на родной земле. Все это происходило в узбекском колхозе “Кизил Мехнат” (“Красный труд”) Туракурганского района Наманганской области.

В сентябре 1943 года Илья Израилевич был призван в армию и направлен на фронт командиром пулеметного расчета. Освобождал Белоруссию, Прибалтику. Дважды ранен. Поправившись после второго ранения, попал в Боровуху под Полоцком в запасной стрелковый полк.

Снял погоны 31 марта 1951 года, отслужив в Советской Армии восемь лет. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью “За отвагу” и другими.

Воевали и имеют фронтовые награды братья Ильи Израилевича — Мирон, Адольф и Александр. Брата Абрама, как инвалида по зрению, на фронт не взяли, но в конце 1945 года призвали в армию».

*Анатолий Шнейдер «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

Вспоминает Григорий Наумович Борода, перед выходом на песню он работал главным инженером Витебского предприятия «Коммунальник».

«Наша семья ушла из Толочина в начале июля 1941 года. Мы добрались с большими трудностями, а у кого их тогда не было, в Куйбышевскую (Самарскую) область в город Чапаевск.

Отца – Наума Юдовича Бороду, он 1900 года рождения, в первые же недели забрали на фронт. Прошел дорогами войны, не раз смотрел смерти в лицо. Но ему повезло, и он вернулся домой. После войны работал председателем артели инвалидов, а затем – директором Толочинского промкомбината. Между прочим, был беспартийным. Хотя в те годы беспартийный директор – это большая редкость. Умер в 1973 году».

«Немцы уже подходили к городу, когда мать схватила меня, документы, какие-то вещи, и мы с ней ушли в неизвестность, – рассказывает о том времени Роман Давидович Рохкин. – Страшно вспомнить, что пришлось пережить нам в пути, пока шли за Урал. Но страшнее была участь моих теток, двоюродных братьев, сестер, друзей, одноклассников, что остались в Толочине. Никого из них после возвращения с фронта домой я в живых не застал...»

*«Наша Талачыншчына», 28 января 2013 г.,
М. Хмелюк, М. Королев, «Стали просто землей и травой...»*

В эти же первые дни июля 1941 года в исключительно тяжелых условиях вела бои между Борисовом, Оршей и Толочино 1-я Московская Пролетарская Краснознаменная дивизия (неофициально прозванная в военных кругах «пролетаркой») под командованием полковника Якова Григорьевича Крейзера.

По состоянию на 24 июня 1941 года, она насчитывала почти 12 тысяч человек личного состава, 205 танков БТ, 24 плавающих танка Т-37 и 39 бронемашин. Соединение было усилено тридцатью новыми боевыми машинами Т-34 и десятью КВ.

Ей противостоял сильный противник – 47-й Берлинский танковый корпус, поддерживаемый авиацией.

В боях за Толочин особым мужеством и отвагой отличились воины батальонов под командованием Василия Былинкина и Павла Шурухина. Внезапно стремительной атакой они разгромили колонну немецкой мотопехоты, рвавшей к городу. В результате упорных боев враг был выбит из Толочина, в плен взято 800 солдат и офицеров. Достался красноармейцам и особо важный трофей — знамя 47-го Берлинского танкового корпуса и 350 автомашин.

За образцовое выполнение боевых заданий на участке Борисов–Толочин–Орша свыше трехсот воинов соединения были награждены орденами и медалями, дивизии одной из первых присвоено звание «гвардейской». Полковник Я.Г. Крейзер, капитан Ч.А. Котученко и рядовой М.М. Дмитриев были удостоены высокого звания – Герой Советского Союза.

В самом начале войны в небе над Толочиним в неравном бою с шестью вражескими самолетами погиб Герой Советского Союза, командир авиаполка, летчик-испытатель С.П. Супрун, ставший первым дважды Героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (второе звание было присуждено посмертно).

Не смотря на упорные бои, Толочин пришлось оставить. 8 июля 1941 года он был оккупирован немецко-фашистскими войсками и вошел в состав территории, административно отнесенной к штабу тыла группы армий «Центр».

Большинство еврейского населения Толочина не смогло или не захотело уйти на восток и осталось в местечке.

Оккупационный режим с первых же дней в самой жестокой и бесчеловечной форме решил показать, «кто теперь в доме хозяин». Побои, издевательства, грабеж – стали нормой жизни. Любое непослушание каралось расстрелом.

Все еврейское население принудили надеть на одежду два желтых треугольника в виде магиндовида. Это был знак обреченных. В сентябре 1941 года было создано гетто в Толочине. Под него отвели пятнадцать домов по улице Никольской (ныне ул. А. Пушкина). Всех жителей этой улицы переселили, а их дома заселили еврейскими семьями из Толочина и близлежащих населенных пунктов. Даже трудно предствить, как в пятнадцати домах разместилось 2000 человек. Пока не наступили морозы, люди спали на улице, в сараях, в скотниках, даже в собачьих будках.

Но зима 1941–1942 года была чрезвычайно суровой. Морозы на Толочинщине в отдельные дни поднимались выше тридцатиградусной отметки. Не то, что не переночуешь на улице, часа не пробудешь без теплой одежды, а ее тоже ни у кого не было.

Простой арифметический подсчет дает труднообъяснимые цифры. В каждом дворе (дом и хозяйственные постройки) должно было ночевать по 130 узников гетто.

Гетто не ограждалось ни забором, ни колючей проволокой. Его охраняли полицаи. Узников гетто гоняли на работы: чистить дороги, пилить дрова, разбирать разрушенные дома. Но особенно полицаи издевались, когда узников отправляли чистить общественные туалеты. В ход шли не только палки и дубины, которыми хлестали по спинам, но и слова, которые порой ранили также болезненно.

Жителей гетто не кормили. Что-то они взяли с собой, когда в начале осени их заставили переселиться в гетто, но припасы быстро закончились. Попрошайничали, когда их водили на работы. Добрые люди давали кусок хлеба, вареную картошку или свеклу. Были случаи, когда довоенные соседи передавали через знакомых полицаев пищу, одежду, лекарства. Иногда удавалось обменять что-то из вещей на еду. Но случалось это крайне редко: в первые же дни у узников отобрали все ценные вещи.

Люди умирали от болезней и голода. Смерть в гетто стала ежедневным привычным делом.

«Немцы и местные коллаборационисты безнаказанно занимались грабежом евреев. Вот выдержка из протокола заседания исполкома райсовета трудящихся Толочинского района от 17 августа 1944 года: “Акт на гражданина Холенкова, проживающего в городе Толочине, об изъятии коровы. В связи с тем, что корова приобретена во время немецкой оккупации, корову отнял у еврейской семьи, работая секретарем райуправы, поэтому изъять корову у Холенкова, как незаконно нажитую”.

В ракурсе этого вопроса и следующее, хотя место грабежа не указано: “Акт на гражданку Раниш Марию, проживающую в деревне Заречье. Корову отнял ее муж у еврейского населения, который работал бургомистром во время немецкой оккупации” (из протокола заседания исполкома райсовета депутатов трудящихся Толочинского района от 21 августа 1944 года).

Имущественный разбой сопровождался и жесточайшим террором фашистов. Вспоминает Гляк В.П.:

“Немцы люто расправлялись с беззащитным еврейским населением местечка. Так, за невыход на работу повесили в центре на площади трех мужчин.

(В октябре 1941 года на улице Пушкина оккупанты за якобы отказ от работы повесили четверых узников гетто: Я. Слободкина, Я. Лосина, Рачина и еще одного еврея – фамилия не известна.

Геннадий Винница, «Слово памяти», Орша, 1997 г., с. 26–27).

Люди, находившиеся в гетто, голодали, и неудивительно, что парнишка, работавший на крахмальном заводе, стащил банку консервов. Когда ее обнаружили, его повесили прямо на воротах этого предприятия».

Геннадий Винница, «Горечь и боль», Орша, 1998 г., с.142.

Сегодня, спустя почти семь десятилетий после окончания войны, трудно представить, что цена человеческой жизни равнялась двум килограммам соли – именно так вознаграждали немцы доносительство на своих довоенных соседей, а иногда и друзей.

«Судьба отличного медика и толочинского пожарника номер один Якова Шура, – вспоминает Софья Рохкинд, – сложилась трагически. Когда началась война, он прятался где-то в деревне с больной женой. Жена вскоре умерла, а своего доктора “благодарные” пациенты выдали немцам. Его водили по улицам Толочина, пытали, зверски издевались».

Воспоминания Спринцы Львовны Рохкинд «Толочин – родина моя», <http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/rohkind.html>

«Фельдшер Яков Шур, врачи Роза и Илья Шпитальник были настоящие интеллигенты, настоящие профессионалы, сделавшие много добра людям. Фашисты расстреляли врача Розу Львовну Шпитальник и ее двоих детей.

Услугами врача Ильи Шпитальника мне довелось воспользоваться в июне 1941 года. По делам мы с матерью шли в Толочин. Проходя через небольшой лесок у Толочина, я босой ногой наступил на острие днища разбитой бутылки, притаившейся на заросшей травой тропинке. Образовалась глубокая рана ступни, из которой хлынула кровь. Мать подручными средствами перевязала рану, и, на счастье, нас подобрал проезжий крестьянин на лошади и подвез к дому Шпитальника. (Его хорошо знали в

районе.) Сказав несколько ободряющих слов, врач принялся за дело. Обработав рану, стал искать осколки стекла. Делал это специальным инструментом в виде изогнутой спицы с шариком на конце. Из-за отсутствия обезболивающей процедура, совершаемая в открытой ране, вызывала нестерпимую боль. Сжав до хруста челюсти, я не проронил ни звука, за что доктор похвалил меня. Сквозь бинт, увеличиваясь в размерах, все явственнее на месте раны проступало красное пятно. Так в 11 лет по несчастливой случайности я стал пациентом врача Шпитальника и благодарен ему до сих пор».

*Анатолий Шнейдер, «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

В одном из интервью работники толочинской районной газеты, а это издание публикует немало интересных и объективных материалов об истории местной еврейской общины, о трагических днях Холокоста, спросили у Романа Давидовича Рохкина – человека, пережившего войну, почему евреи не уходили в лес, не присоединялись к партизанским отрядам.

«—У евреев очень сильны родственные чувства, — ответил Роман Давидович. — Муж не станет спасаться, оставив в беде жену и детей. Сын не бросит престарелых родителей».

*«Наша Талачыншчына», 28 января 2013 г.,
М. Хмелюк, М. Королев, «Стали просто землей и травой...»*

Про родственные чувства сказано верно. Но были и другие причины. Уйти в лес, в зимнюю стужу без оружия и продовольствия, без надежды, что найдешь партизанский отряд, которых в 1941-м — начале 1942 года было немного — значит обречь себя на верную гибель. Надеяться на то, что тебя спрячут в деревне, хотя бы на непродолжительное время, не приходилось. Даже если люди по-человечески относились к евреям и хотели им помочь, они боялись — за укрывательство евреев смерть грозила всей семье.

И все же евреи уходили в партизанские отряды, как это произошло в соседней с Толочиной деревне Оболицы, где около

пятидесяти евреев с помощью местных жителей запаслись оружием и под руководством председателя колхоза Семена Иофика бежали в лес. Позднее они присоединились к партизанам бригады Гудкова.

Несмотря на то, что фашисты пытались сломить у людей волю к сопротивлению, узники предпринимали попытки убежать из гетто.

«Выяснился удивительный случай избавления Шапиро Марии, которая ночью, с помощью знакомого полицая, выбралась из гетто и, по поддельным документам попав в Оршу, отправилась как “остарбайтер” в Германию. Там эта светловолосая молодая женщина работала и осталась жива.

Пряталась, и довольно долго, в деревне Муравницы еврейка по фамилии Копылова, и только личная неосторожность привела ее к гибели.

Вспоминает Белла Борисовна Каждан: “Мои родственники, два мальчика Муля и Лева Клугманы, прихватив новорожденного братика, спрятались на чердаке своего дома. Малыш, к несчастью, расплакался, когда кругом рыскали палачи, что, конечно, обнаружило укрывавшихся, которых вскоре убили в той же яме, где и всех остальных”».

Геннадий Винница, «Горечь и боль», Орша, 1998 г., с. 142–143.

12 марта 1942 года гитлеровцы пришли в гетто и отобрали самых крепких мужчин (крепкими оказались те, кто еще уверенно стоял на ногах). Таких набралось чуть больше десяти человек. С ломami и лопатами в руках под дулами автоматов их погнали на окраину Толочина и у поселка Райцы заставили рыть большую яму. Догадывались ли они, вгрызаясь в промерзшую землю, для чего или для кого копают эту яму? Полицай, охранявшие их, не скрывали: «Копайте лучше, для себя стараетесь». Кто-то не хотел верить этим словам, кто-то пытался в последние минуты найти возможность для побега. Врач Яков Фишкин не стал дожидаться страшного конца. Дал яд жене, детям, затем покончил с собой.

«А на следующее утро жители соседних улиц содрогнулись от страшного зрелища: полуодетых жителей гетто фашисты,

подталкивая автоматами, спешно выгоняли на улицу и строили в большую колонну, состоящую из взрослых, детей и стариков.

Плач детей и женщин перекрывал злобный лай собак и команды палачей. Вскоре колонна под усиленным конвоем гитлеровцев с овчарками двинулась в сторону поселка Райцы.

Еще в городе одна из женщин попыталась бежать. Такую же попытку сделали еще двое обреченных, но тут же были скошены автоматной очередью. В этот день фашисты расстреляли ни в чем не повинных людей. Вся их “вина” состояла в том, что им было суждено родиться евреями. Во время казни палач разорвал надвое и бросил в могилу младенца учительницы Шапира»...

*Анатолий Шнейдер, «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

На расстрел фашисты выводили жертв группами по тридцать человек. Раненых потом добивали выстрелами из пистолетов.

На следующий день после ликвидации Толочинского гетто гитлеровцы продолжали разыскивать спасшихся узников.

«Вспоминает Владимир Павлович Гляк: “ Я видел, как расстреливали 14 марта 1942 года убежавших от расстрела накануне евреев. Это были девочка, женщина и старик. Было холодно, пурга, и их не раздевали. Выстрел в затылок был последним, что они слышали».

Геннадий Винница, «Горечь и боль», Орша, 1998 г., с. 143.

Еще долго шевелилась, присыпанная снегом, красная от людской крови земля на могиле, и доносились глухие стоны раненых и упавших в могилу живыми.

Спасти удалось немногим. Только чудо и доброта людей помогли им. Еврейского мальчика по имени Хоня, лет десяти, спас отец толочинского краеведа Анатолия Шнейдера, которого мы не раз цитируем в этой статье.

«В один из морозных дней мой отец пошел в овин за соломой для подстилки скоту. Когда открыл ворота, ему показалось, что солома зашевелилась.

– Кто здесь? – окликнул отец.

Ворох соломы раздвинулся, и оттуда показалось испуганное изможденное лицо мальчика. Он рассказал, что убежал от немцев в Поречье (моя родина – А. Шнейдер) потому, что здесь работал до войны кузнецом его дедушка Шмуйла. Этого доброго старика с окладистой белой бородой, похожего на Будулая из фильма “Цыган”, хорошо помню. Он был отменный мастер. Делал подковы и ковал лошадей, зубил серпы и ножи для жаток, делал отличные ножи из напильников, топоры и многое другое. Все в деревне его звали дед Шмуйла. Он тоже был расстрелян немцами.

Отец привел Хоню в дом. Мальчика помыли, накормили, переодели и прятали от немцев вначале у нас, потом у других односельчан. Затем его приютила женщина, у которой снимал квартиру его дедушка кузнец Шмуйла. Когда возросла опасность огласки о нахождении еврейского мальчика в деревне, его отправили в партизанскую зону, где его на воспитание взяла одна добрая женщина. После войны Хоня часто навещал свою спасительницу, привозил подарки, помогал материально. А когда умерла, похоронил, поставил памятник на ее могиле. После войны работал на одном из заводов Орши. Дальнейшая его судьба мне неизвестна».

*Анатолий Шнейдер, «Толочинские евреи»,
<http://shtetle.co.il/Shtetls/tolochin/tolochin.html>*

Машу Бороду спасли мужественные белорусские люди Иван Боровский и Тит Зайцев.

Житель города Толочина Тит Зайцев и колхозник, вдовец из соседней деревни Слободка Иван Боровский, были хорошими друзьями с Юдой Бородой со времен Первой мировой войны, когда все трое находились в австрийском плену.

Внучка Тита Зайцева Ирина и 19-летняя дочь Юды – Маша Борода были подругами.

Каждый раз, когда Маше удавалось выбраться из гетто, Ирина снабжала подругу продуктами и уговаривала бежать. Незадолго до 13 марта 1942 года Маша попрощалась с родителями, сестрами и братьями и ушла к Зайцевым.

Тит Зайцев спрятал девушку в повозке и перевез в деревню Слободка к своему другу Ивану Боровскому. Деревня находилась в малонаселенной местности, окруженная лесом, а дом Боровского стоял в отдалении от других. Иван жил с пожилой матерью. Жена Боровского умерла в 1940 году. Сын был на фронте.

Маша оставалась у Боровских до самого освобождения в июле 1944 года. Большую часть времени девушка пряталась в шкафу или в подвале среди бочек с соленьями и мешков картошки. Когда было спокойнее, она помогала своим спасителям по хозяйству. Тит Зайцев иногда навещал Машу, сообщая ей новости. От него девушка узнала о трагической судьбе своей семьи.

Маша Борода (позже Мария Рубиржевски) поддерживала связь со своими спасителями, приезжала в гости, помогала.

В начале 60-х годов Иван Боровский и Тит Зайцев умерли.

Леонид Лившиц у памятника узникам Толочинского гетто.



Маша уехала из Белоруссии и через какое-то время поселилась в США.

16 июля 1997 года Яд-Вашем удостоил Тита Зайцева и Ивана Боровского почетным званием «Праведник Народов Мира».

Памятник жертвам Толочинского гетто поставили в конце пятидесятых годов родственники погибших, которые работали в Минске на автозаводе. Деньги собирали

всем миром. Тогда это было достаточно рискованное занятие, особенно для членов партии, руководителей различных организаций, отделов, цехов. Но свое слово сказали бывшие фронтовики, люди, награжденные орденами и медалями. А таких было немало.

Удивительно, что не вмешалось районное начальство и не потребовало слова о еврейском населении заменить на «советские люди». Ведь в те годы это было общим правилом. А надпись на идише и вовсе свидетельствует о большой смелости районного начальства.

В 50-е – 60-е годы в августе в Толочине собирались евреи из разных городов страны, дети, внуки, родственники погибших в гетто. Приходили к памятнику, на еврейское кладбище. Раввин читал молитву, люди говорили прочувственные слова. Когда умер толочинский раввин, приглашали из Борисова человека, который знал молитвы. Последние лет двадцать в августе в Толочине уже никто не собирается.

...Поле. Нет ни дороги, ни тропинки к памятнику. Он зарастает, как и наша память, травой забвения.

...Раиса Ефимовна Лившиц во время встречи передала мне письмо для комиссии, которая рассматривает вопросы, связанные с установлением памятников в местечках, где фашисты и их пособники расстреляли еврейское население.

– Хотя бы недорогой памятник, но похороните, чтобы поставили в деревне Ухвалы Крупского района Минской области. Там расстреляны все мои родные, друзья детства.

Я пообещал. И стал расспрашивать Раису Ефимовну о военных годах.

– Я напишу вам письмо, – сказала она.

Наверное, написать ей было легче, чем рассказать о тех страшных днях.

Через несколько дней я получил письмо из города Толочина.

«Моя девичья фамилия Амбург, – писала Раиса Ефимовна. – Я родилась в 1929 году в местечке Ухвалы. Отец Ефим Самуилович был сапожник, мама Фрейда Нохимовна, как и большинство еврейских женщин в местечках, домохозяйка.

Воспитывала троих детей. У меня было два брата: старший Лейзер и младший Файва. Когда началась война, Файве было всего пять лет. Моего деда звали Нохим Гольдин и бабушку Цыпароха. Люди говорили, что надо уходить от фашистов. Но куда пойдешь со стариками, маленькими детьми? Через две недели после начала войны немцы оккупировали Ухвалу.

Спустя несколько дней всем еврейским мужчинам приказали собраться. Пришло человек восемьдесят. Их погрузили на машины и отвезли в лес, якобы, на работу. Обратного никто не вернулся. Потом мы узнали, что их расстреляли.

Остались только женщины, дети и старики. Фашисты отвели для евреев пять домов и туда всех согнали. В каждом доме было человек по тридцать.

Маму, других женщин забирали в школу, где стоял немецкий гарнизон. Они стирали белье, мыли полы, чистили картошку.

Раиса Ефимовна Лившиц.



Всем, начиная с семилетнего возраста, приказали надеть на рукава желтые повязки. Мы страшно голодали, ели гнилую картошку, добавляли траву и пекли лепешки. Так продолжалось до весны 1942 года.

Я узнала, что 4 мая всех евреев поведут на расстрел. Когда нас стали выгонять из домов, мне с подругой Беллой Кроек удалось убежать по огороду к речке. Немцы заметили нас, и открыли огонь из автоматов.

Мы убежали и спрятались в кустах. Оказались недалеко от ямы,

куда фашисты и полицаи стали привозить людей на расстрел. Мы все видели. Они приводили по четыре человека, ставили на колени и стреляли в затылок.

Мы остались в лесу: голодные и раздетые. К вечеру пошел снег. Сняли рубашки, обмотали ноги и пошли по дороге. Попали в деревню. На окраине стояли старые домики. Зашли, попросили покушать. Женщина дала нам по кусочку хлеба и две пары старых лаптей. Мы обулись и опять пошли в лес. Три месяца жили с Беллой в лесу.

Ходили по деревням, просили у людей еду. Нам помогали, предупреждали, если в деревне немцы.

Все время хотелось кушать. Однажды мы сели под деревом, и Белла быстро уснула. Я посмотрела в торбочку, а там отломался маленький кусочек хлеба. Я взяла кусочек с горошинку и положила в рот. Но Белла мне сказала: “Зачем ты кушаешь без меня?” Я ответила, что больше никогда не буду без нее кушать.

Прошло 63 года, а я не могу забыть этот разговор.

С каждым днем становилось все труднее, в деревнях появились полицаи. В одной деревне мы зашли в дом к бургомистру. К счастью, его не было дома, а мать бургомистра дала нам по кусочку хлеба и сказала: «Убегайте в лес. Должны приехать немцы».

В августе 1942 года мы зашли в деревню. Там оказались партизаны из отряда № 30 им. Машинского бригады Ильина. Нас приняли в отряд. Я стояла на посту, работала на кухне, в госпитале. Меня любили раненые, я кормила их с ложки.

Иногда посылали на задание. Я встречалась с одним полицаем, его брат был в отряде, он рассказывал, сколько немцев в гарнизоне, какое у них вооружение.

8 июля 1944 года мы соединились с Советской Армией в деревне Славное Толочинского района...”

В 1970 году в Толочине проживало 172 еврея, а спустя 19 лет их оставалось уже 71 человек. Но еврейская жизнь еще теплилась в семьях, люди не забывали о праздниках, об обычаях и традициях.

Вспоминает Григорий Наумович Борода:

«Мать — Фрида Гиршевна, 1902 года рождения. Домохозяйка. В нашей семье было четверо детей — три брата и сестра.

Мама была религиозным человеком. Еврейские праздники отмечала по всем законам. Свинину никогда не употребляла. Посуда дома была общая и кошерная. В конце 40-х и начале 50-х годов каждый год перед праздником Песах в нашем доме собирался “подрад”, и женщины пекли мацу. В этом деле принимали участие и мужчины. Каждая женщина приносила определенное количество муки, готовили тесто, раскатывали деревянными качалками, а детям доверяли специальными колесиками (рэделэ—идиш) прокатывать тесто. Для них это было забавно и удовольствие. Топили печь до высокой температуры, и там выпекали мацу.

В послевоенное время в Толочине молельный дом действовал неофициально — люди собирались и совершали молитвенные обряды. Происходило это каждую субботу в доме у Болотина Нохима — он же выполнял обязанности синагогального старосты.

Мама на каждый праздник готовила еврейские блюда: цимес, кнейдлэх, фаршированную рыбу, гоментес, тейглэх, лэкех, пышные булки. В дни Песаха на столе всегда была маца. В праздник Йом-Кипур она постилась, сутки не употребляла пищу.

Наша фамилия Борода — одна из самых распространенных в Толочине. До войны моих родственников хватило бы, чтобы только ими заселить большую улицу.

(По данным Яд-Вашема, в годы Холокоста в Толочине были расстреляны фашистами 25 человек, носивших фамилию Борода. — А.Ш.)

И в послевоенное время многие жители города носили фамилию Борода, и все они в различной степени были между собой в родстве: Борода Абрам Гиргиевич — работал заготовителем, Борода Михаил Самуйлович — был кладовщиком строительной организации, Борода Лазарь — мастер по пошиву головных уборов, Борода Лазарь Моисеевич — парикмахер, Борода Яков Наумович — парикмахер, Борода (по мужу Родина) Таисия Самуйловна — парикмахер, Борода Татьяна Абрамовна — парикмахер, Борода Адольф Моисеевич — маляр, Борода Софья Самуйловна — зав. библиотекой в школе №1, Борода Зинаида Максимовна — воспитательница детсада.

(Парикмахер – самая распространенная профессия у толочинских евреев с фамилией Борода. Фамильная профессия – А.Ш.).

В настоящее время в Толочине из моих близких родственников проживают: Борода Татьяна Абрамовна – жена моего брата, Борода Зинаида Максимовна – жена моего двоюродного брата.

Многие мои родственники в начале 90-х годов выехали за границу в разные страны на постоянное место жительства».

Леонид Лившиц вызвался показать нам то, что сохранилось от еврейского Толочина.

Маршруты «По тропам еврейской истории» в бывших местечках, как это ни грустно звучит, зачастую проложены от кладбища до кладбища.

Когда-то в Толочине было три еврейских кладбища. На месте одного построили среднюю школу. Города растут. И кладбища, не только еврейские, когда-то находившиеся на окраинах, оказываются в центре микрорайонов, мешают прокладке дорог, строительству различных объектов. Так происходит во всем мире. Нет ничего вечного под луной. Даже «вечный дом», как называют кладбища, оказывается не таким уж вечным. Но, снося кладбище, надо обязательно делать перезахоронения. И поставить на этом месте памятный камень, сообщающий о том, что здесь было.

На месте второго кладбища – пустырь. А третье – за городом. Оно сохранилось. Наверное, когда отводили под кладбище место в нескольких километрах от местечка, еврейская община роптала, почему так далеко выделили участок земли. Но такое расположение помогло кладбищу сохраниться.

У ворот вас встречает одинокая могила Лазаря Менделькера. Он умер в середине восьмидесятых годов. Похоронен метрах в тридцати от основного массива захоронений. Первое, что я подумал: люди были против того, чтобы покойника хоронить в одном ряду с остальными. Что же такого он сделал? В чем провинился? Я спросил об этом у Леонида Лившица.

Прости, Лазарь Менделькер, что подумал о тебе плохо. Был ты простой работающий еврей, проживший нелегкую жизнь и не

причинивший людям вреда. В конце 1937 года, когда в городе была организована артель ломовых извозчиков, ее возглавил Лазарь Вульфович Менделькер и руководил вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В артеле работало пятнадцать извозчиков. Чуть позже в нее вступили еще семь легковых извозчиков, которые на своих подрессоренных, обтянутых черной кожей фаэтонах, с фонарями по бокам, доставляли пассажиров в населенные пункты района по заказу и по маршруту Толочин – Вокзал. Толочинские «таксисты» 30-х годов: Кривошеев и его сын Абрам, Хайкины, Брод, Розины, Борода, Гильман, Аврутин и др. Конюхом работал Гордеев.

На лошадях этой артели многие еврейские семьи из Толочина были эвакуированы в советский тыл. Потом Лазарь Вульфович воевал на фронте, а после освобождения Белоруссии снова работал в родном Толочине.

И дочь твоя Фаня Лазаревна всю жизнь проработала в родном городе бухгалтером, статистом. И о ней говорили только с уважением.

А похоронили тебя в стороне от всех, у самых кладбищенских ворот, по другой причине. В ту зиму выпало очень много снега. Когда пришли копать могилу, поняли, что не пробиться к основному массиву, не расчистить снег ко времени похорон. И решили положить Лазаря Менделькера у самых ворот. Теперь он первый встречает всех, кто приходит на кладбище. Первым узнает все новости из мира живых.

Самое старое сохранившееся захоронение относится к началу двадцатого века. Под соснами нашел вечный приют Израиль Мовшевич Мерлис – учредитель фирмы «Стеклянные заводы Мерлиса». Все эти данные выбиты на памятнике из черного гранита. Две надписи: на иврите и на русском языке. На иврите – традиционная «Здесь лежит». И первые буквы библейских слов: «Пусть будет его душа вплетена в вечный узел жизни». На русском – о работе. Две стороны одной жизни. Две надписи. Два языка. Этот памятник в годы Великой Отечественной войны оккупанты хотели вывезти в Германию. Наверное, перебив

буквы, чей-то заботливый и экономный сын хотел установить его на могиле отца или матери. Дело шло к отступлению, и много времени у оккупантов не было. Они приехали на кладбище, попытались ломами поднять памятник. Но, устанавливая, его так надежно забетонировали, или он так сросся с землей, которая стала ему родной, что сделать этого немцы не смогли. Дали автоматную очередь на черному камню, по фамилии Мерлис, по еврейским буквам и уехали.

Когда мы уходили с кладбища, Леонид сказал:

– Сорвите три раза траву и бросьте ее через левое плечо. Такой у нас обычай.

Я слышал, что в полесских местечках, уходя с кладбища, три раза срывали желтые цветы бессмертника и бросали через левое плечо.

Мы сорвали траву и вместе с осенними листьями бросили ее через плечо.



Еврейское кладбище. Памятник Израилю Мерлису.

Алхимик новейшего времени

Мал Городок, да дорог...

«Городок провинциальный, летняя жара...». Конечно же, эта песня Михаила Ясеня была написана не про маленький город на самом севере Беларуси, который так и называется Городок. Да и вообще, вряд ли о Городке кто-то из профессиональных поэтов или композиторов писал песни, хотя Бог не обделил этот маленький город, в потрясающе красивом месте, талантами.

Самая знаменитая белорусская поэма «Тарас на Парнасе» написана городокским мещанином Константином Веренициным. Белорусский поэт Владимир Скорынкин, стихотворение которого «Яны спрадвеку тут жылі», мы еще процитируем, родился в послевоенном Городке. Проведать родительские могилы приезжает питерский дирижер Массарский. Фамилии, имена можно перечислять и дальше, а вот песен не припомню. Может, поэтому, когда я представляю себе довоенный Городок, который никогда не видел и знаю по рассказам людей, живших в нем, да по музейным фотографиям, слышу песню Михаила Ясеня «Городок провинциальный, летняя жара...»

На центральной площади, там, где сейчас Мемориал советским солдатам и офицерам, погибшим, освобождая Городок от немецко-фашистских захватчиков, когда-то был большой базар – самое колоритное место в городе. На базар мы с вами еще успеем вернуться. Тем более, что с ним, так или иначе, связана биография нашего героя.

В середине тридцатых годов прошлого века разобрали брусчатку и на месте базара сделали сквер. По выходным дням в городском саду исполнял марши и вальсы духовой оркестр пожарников, в лучах заходящего солнца играли зайчики на начищенных пряжках и трубах...

В сквере поставили памятник вождю мирового пролетариата, тогда эти слова произносили серьезно, безо всякой иронии, Владимиру Ильичу Ленину. Но инженер ошибся в расчетах, или в силу каких-то других причин, памятник стал накреняться то в

одну, то в другую сторону. Его ремонтировали. А пожилые люди шептались, показывая глазами на памятник: «Видно, эта власть долго не продержится...» Старики – мудрые люди, с большим жизненным опытом, но и они иногда ошибаются.

В еще более ранние времена рядом со сквером находилась корчма. Корчмарь был, понятное дело, еврей. Не потому, что евреи очень любят торговать водкой и торговое дело у них в крови, и не потому, что они, как утверждают некоторые радикально настроенные антисемиты, пытались споить другие народы. Землей представителям этого народа владеть не позволяли, в лучшем случае разрешалось быть арендатором, да и то чаще всего документы оформляли на другого человека – христианина, в деревне жить – власти какое-то время разрешали, потом запрещали, карьеры на государственной службе не крещенному еврею тоже не сделаешь, за пределы черты оседлости особенно не вырвешься. А семью кормить надо. Причем не маленькую. Заповедь «плодиться и размножаться» наши предки тщательно исполняли. Вот и занимались они делом, которое могло принести доход: открывали корчмы и постоялые дворы, держали шинки, нередко без патента.

Центральная площадь в местечках обычно находилась на возвышенности. Главное место на ней занимали базар, церковь, синагога. Веером расходились улицы в разные стороны. Если спускаться вниз по мощенной булыжником улице к речке Горожанке, то попадем на улицу Красноармейскую. Здесь и сейчас стоит дом Кожевниковых.

Две недели я ходил по этой улице, по брусчатке, уложенной Кривичкиными. В Городке двух братьев никто не называл по фамилии. Для всех они были «мостовики». Кстати, они родственники Кожевниковых. Хотя, если как следует покопаться в родословной пяти–шести поколений, евреи одного местечка между собой оказывались все в каком-нибудь, да родстве. Всю жизнь Кривичкины проползали на коленях. Звучит смешно, но профессия заставляла. На ноги надевали огромные кожаные наколенники. В руках специальный молоток с лопаткой. Братья были неграмотные, что среди еврейских мужчин встречалось крайне редко.

Давно нет на свете Файвла Кривичкина и его младшего брата. В Городке, да и не только в нем, напрочь забыта профессия мостовика, а люди по-прежнему ходят по мостовым, сделанным их руками, ездят по дороге, что ведет из Городка в Невель.

Я гулял с Рувимом Захаровичем Кожевниковым по Городку. Он рассказывал мне о своей жизни, и не только его биография оживала и проходила перед моими глазами. Оживала история Городка, его улицы наполнялись людьми, давно ушедшими в мир иной, начинали звучать забытые слова.

«Вот здесь, на горوشке, было захоронение наполеоновских солдат. Ряды могил. Обнесено все столбами и проволокой. Больше ста лет простояли могилы, и никто их не трогал. Никто не строил дома на этом месте, не разбивал огороды, не сажал деревья. В тридцатые годы, уже при советской атеистической власти, стали брать песок на строительство у подножья этой горы. Показались кости. Однажды мы, пацаны, нашли старинное французское оружие. Взрослые отобрали его у нас и отругали за то, что мы потревожили святое место. Захоронение людей любой религии считалось святым. После Великой Отечественной войны место, где были похоронены французские солдаты, и вовсе застроили домами, разбили огороды.

А по этой улице мы ходили на озеро Луговое на рыбалку, — продолжает рассказ Рувим Захарович. Говорит он медленно, голос у него негромкий. — Рыбаком я был страстным. Рыбы было, конечно, намного больше, чем теперь. Да и озера были другими: чистыми, полноводными. А про речку Горожанку и говорить нечего. Сейчас она похожа на ручей. А когда-то мы пили из нее воду, ныряли и плавали здесь.

В Городке жили два брата Гайдука. Они занимались рыболовством. Это был их заработок. («А парносе», — как говорили на идише). У них были лодки, сети. Ловили столько, сколько могли продать. Ячейка в сетях была крупная. Во-первых, никто не покупал мелочь, все хотели крупную рыбу, и к тому же Гайдуки знали, что им и через день, и через неделю, и через год придется ловить на озере Луговом. Оно не было их

собственностью, но они заботились о том, чтобы озеро было чистым, а рыбы в нем – много. Продавали рыбу прямо на берегу. Хозяйки знали, когда Гайдуки приедут с рыбалки, и подходили к озеру. Щука и лещ шли на фаршированную рыбу, из крупной плотвы, язя, карпа получалась отменная молочная рыба, а судака можно было взять для заливной рыбы. Еврейские женщины знали толк в кулинарии, а субботний стол без рыбы – пустой. Лет тридцать Гайдуки занимались рыболовством, и кто знает, может, до них этим занимались их отцы и деды.

Когда началась коллективизация, решили сделать при райисполкоме рыболовецкую бригаду. Имущество Гайдуков национализировали, набрали в коллектив новых людей. А затем бригаду объединили вместе с витебскими рыбаками в одну артель. Гайдуки уже были пожилыми людьми и отошли от дел. На лодки артельщики поставили новые мощные моторы, вместо сетей привезли неводы. Артель ловила не только на Луговом, но и на других озерах вокруг Витебска и Городка. На Луговое приезжали пару раз за лето. Неводами перегораживали все озеро, вытаскивали их лебедкой. Выгребали всю рыбу подряд, и большую, и маленькую. Маленькую выбрасывали здесь же на берегу. Они гнила, стоял неприятный запах».

Гайдуки никогда не говорили о патриотизме, наверное, слова такого не знали. А у новых хозяев жизни громкие слова были в ходу. На партсобраниях, на митингах они умели рубить воздух лозунгами. Хотя на деле именно Гайдуки были настоящими патриотами, любившими и свое озеро, и свое местечко.

Сколько поколений Кожевниковых жило в Городке, сегодня вряд ли кто-нибудь ответит. Может быть, появились они здесь вместе с первыми евреями, поселившимися в местечке четыре века назад.

*«Жылі ж спрадвеку тут яны –
Талковыя і ўмелыя.
На бейс-гакворэс валуны
Цяжкія, заімшэлыя...»*

Это поэзия уроженца Городка Владимира Скорынкина.

Если брать документы, то одни из самых старых записей относятся к 1855 году, когда в Санкт-Петербурге вышла книга «Исторические сведения о примечательных местах в Белоруссии». В ней написано:

«В Городке более 350 домов. В них жителей до 3500, из них евреев более за 2000 душ».

Сементовский А.И. в книге «Витебск и уездные города Витебской губернии. Памятная книжка Витебской губернии – 1864 г.» дает точную статистику за 1862 год. «В Городке проживало евреев мужчин – 1217 человек. А всего мужчин в Городке проживало 2014 человек... Еврейских женщин в Городке проживало 1191. А всего женского населения было 2159 душ...»

Рувим Захарович Кожевников пытался как-то составить генеалогическое древо своей семьи. Но дальше деда, которого звали Мойше, пойти не смог. Что делать, если послереволюционные поколения мечтали о счастливом будущем и ничего не хотели знать о прошлом...

В роду Кожевниковых все были мясниками. Это, говоря современным языком, семейная профессия, которая переходила от отца к сыну. Кожевниковы складчину построили в Городке бойню. Они ездили по деревням, закупали скотину, пригоняли ее в местечко, разделявали, а потом продавали мясо на базаре, где у каждого была своя лавка (а ятке – на идише). Думаю, и фамилия Кожевников, которую получил предок, имеет профессиональные корни. Вероятно, он занимался выделкой кож и тоже относился к производственному конвейеру, который начинался с закупки скотины.

Отца Рувима звали Залман, русские называли его Захаром. Был он работягой, старался заработать лишнюю копейку, чтобы принести ее в дом, поставить детей на ноги. Вставал ни свет, ни заря, особенно по воскресеньям, когда из окрестных деревень и местечек съезжались на базар люди. Приезжали даже из Езе-рища, Яновичей, Колышек, из-под Витебска. Тогда казалось, что на городском базаре можно было купить все, что угодно. Впрочем, в каждом местечке был свой такой же базар.

Сначала шел конный ряд. Потом продавали овец, коз, домашнюю птицу, прочую живность. Потом шли мясные палатки. В центре базара стояла огромная кирпичная уборная – городская достопримечательность. Потом шел ряд, где продавали мелкие скобяные товары. Потом – изделия кустарей: корыта, шайки, ночевки, кружки, кувшины; изделия гончаров. Потом был ряд, где продавали поросят. Следом – овощи и фрукты. Потом – сено, трава. Потом – всякая упряжь. Была слышна и белорусская, и еврейская, и русская, и цыганская речь. Если надо – переходили с языка на язык. А как торговались! Это не торговля, а настоящий спектакль. Записывать надо было. К сожалению, этот фольклор ушел от нас безвозвратно. Его уже не восстановишь.

В 1929 году власти запретили частную торговлю. Кожевниковы закрыли скотобойню и лавки на базаре. Захар очень переживал, не знал, куда себя деть. Короткое время работал в государственной торговле. Как и прежде, сидел в мясной лавке, но уже не был ее хозяином. Для него многое было дико. Товара, например, нет. Он не понимал, как это нет товара, за ним надо ехать, привозить его, и он будет. Базар в Городке стал тускнеть.

В это время появился лозунг «Евреи – на землю!». По местечкам и городам ездили представители ОЗЕТ (Общество землеустройства еврейских трудящихся) и агитировали евреев переезжать в сельскохозяйственные коммуны, заниматься сельскохозяйственным трудом.

Вряд ли Захар поддался бы на эти уговоры: властям он не доверял. Но жена у него была сознательной пролетаркой. Она работала воспитательницей в детском саду, а до этого – воспитательницей в еврейской детской колонии, которая открылась в Городке для беспризорных детей после Гражданской войны. Ходила в красной косынке, была общественницей. Муж про нее говорил: «Ты у меня в штанах». Все остальные еврейские жены занимались домашним хозяйством, воспитывали детей, по вечерам на крылечках обсуждали местечковые новости. Алта не такая. Во-первых, она была из образованной семьи Пруссов, знала не только идиш, но и иврит, что для женщин было редкостью. Дома, чтобы скрыть от детей какие-то новости, иногда

говорили на иврите. Алта интересовалась политикой и была убежденной атеисткой. Она решительно заявила мужу: «Надо ехать в коммуну строить новую жизнь».

И семья Кожевниковых поехала под Богушевск, где на месте бывшего панского имения создавалась еврейская коммуна. Имение было разграблено и разорено. Коммунары внесли свой пай и стали восстанавливать хозяйство. Большинство из приехавших раньше никогда сельским хозяйством не занимались. И, тем не менее, сдвиги были. Коммуна, с государственной помощью, медленно, но все же становилась на ноги. Рувим, которому тогда было шесть лет, помнит большую столовую, где питались все коммунары.

В конце 1930 года деятельность ОЗЕТа стали сворачивать, коммуны ликвидировали, и на ее месте сделали еврейский колхоз. Семья Кожевниковых забрала свой пай, на сей раз не помогли лозунги и пролетарская сознательность Алты, купила лошадь и повозку, погрузила на нее пожитки и отправилась обратно в Городок.

Захар пошел работать землекопом. Трудящимся выдавали по карточкам в день 400 граммов хлеба. Впрочем, хлебом это было трудно назвать – отруби с подмешенной в них мукой. Голод стоял страшный. Всеобщая принудительная коллективизация обернулась всеобщей принудительной голодухой.

Государство, конечно, предпринимало попытки побороть голод. Но, в первую очередь, заботилось о сохранении завоеваний революции, а значит, о контроле над людьми. Все население Городка, вероятно и других городов и местечек, было разделено на «десятки». Десять домов – «десятка». Разрешали по определенному графику сметать мучную пыль со стен и потолка на мельнице, которая была в Прудке (недалеко от Городка) и забирать с собой. Считалось большим счастьем, когда подходила очередь, потому что можно было насобирать полкилограмма мучной пыли. Это становилось весомой прибавкой к рациону. Мучную пыль подмешивали к желудям, к отрубям, делали похлебку, пекли что-то наподобие хлеба.

Не было соли. На «десятку» давали кусок бочки из-под селедки. Доски были пропитаны селедочным рассолом. Дома

такую доску раскалывали на щепки. И щепки вываривали. Получался солоноватый раствор. Он заменял соль.

От голода стали погибать люди. На улице, где жили Кожевниковы, умерло несколько человек. Государство снова «проявило заботу», и началось «золотое время». Милиционеры и общественники ходили по домам и отбирали золото, серебро, драгоценности. Говорили, это делается, чтобы спасти людей от голода. Если люди добровольно не отдавали золото, их сажали в тюрьму. Пришли как-то к Дуне Скрыге, соседке Кожевниковых, и потребовали отдать драгоценности. У нее их никогда не было. Ей не поверили и забрали с собой, посадили под арест.

К Кожевниковым не приходили за золотом. Во-первых, Алта была активисткой и сознательной женщиной, да и кругом знали, что ничего эта семья не скопила. «Драгоценности» в доме Кожевниковых состояли из шести серебряных ложек, которые Алте подарили родители на свадьбу.

Когда власти выгребли золото и серебро, хранившиеся у людей на черный день, открылись магазины «Торгсин». Такой магазин был открыт и в Городке. «Торгсин» – это торговля с иностранцами. Откуда в Городке в те годы были иностранцы?

В один из дней, когда Алта ничем не смогла ответить на взгляды голодных детей, она достала из шкафа свадебный подарок и понесла ложки в магазин «Торгсин». За серебро дали несколько килограммов пеклевой муки. Алта принесла домой ценный груз и всю муку сразу пустила на тесто. Не могла она перенести голодные взгляды детей, их тихие, но понятные вздохи. В этот вечер она испекла шесть караваев хлеба. Запах стоял в доме такой, что можно было сойти с ума. Хлеб доставали из печи, и хотя взрослые понимали, что надо сделать запас на следующие дни, никто не мог сказать слова: «Нет». В этот вечер съели все шесть караваев. Потом Алта долго переживала, что поступила не по-хозяйски.

И все же эти маленькие радости, которые запомнились на всю жизнь, не спасли бы семью от голода, если бы не помогал брат Алты, который в то время жил в Москве.

Мы сделаем небольшое отступление, чтобы подробнее рассказать об этом человеке. Он этого, безусловно, заслуживает.

Велвл Прусс был намного старше Алты. И еще до 1917 года стал активным социал-демократом. Жил в Санкт-Петербурге. За революционную деятельность был сослан в Сибирь. Бежал, оказался в Швейцарии. Серьезно учился и по-прежнему под-держивал связь с русскими революционерами, с большевиками, которых в Швейцарии жило немало. Велвл женился на Гене. Эта девушка, тоже из Белоруссии, стала его невестой еще до сибирской ссылки.

Велвл был серьезным специалистом по точной механике и занялся часовым делом. Как у Кожевниковых семейным занятием было мясное дело, так у Пруссов – часовое. Отец Велвла был часовщиком, жил в Витебске. Говорили, что у мастера Иосифа Прусса золотые руки. У него были ученики, подмастерье. Даже витебский губернатор доверял ему ремонт своих часов.

Иосиф Прусс умер еще до революции 1917 года. Его мастерскую продали. Старший сын уже жил в столице, а младший Яков был еще слишком мал. Потом его отдадут учеником к сапожнику, и по этой специальности он проработает всю жизнь.

Жена Иосифа – Геня, была интеллигентной женщиной, окончившей курсы, много читавшей, знавшей литературу. Но после смерти мужа семья стала бедствовать, и она решила выйти замуж за Мойше Кожевникова – мясника из Городка, который тоже недавно овдовел. Так переплелись судьбы этих семей. Геня с дочерьми Алтой и Дашей приехала в Городок. И хоть в доме мясника Кожевникова было сытно, долго прожить вместе разные люди не смогли. Геня Прусс вернулась в Витебск. Но судьба пошутила над ней. Ее дочь Алта познакомилась с сыном Кожевникова Захаром, и они стали мужем и женой. А расставшиеся супруги теперь именовались сватами.

Младшая сестра Даша тоже вышла замуж в Городке. Правда, в отличие от старшей сестры, ее мужем был какой-то проходимец. Очень скоро поняв это, она развелась. Отвергнутый муж бегал по Городку с ножом и грозил зарезать бывшую жену, пока однажды на дороге не встретился ему Захар Кожевников. Надо сказать, что все Кожевниковы были не робкого десятка, а кулаки по размеру не уступали детской голове.

Захар взял за грудки бывшего родственника и сказал:

– Еще раз увижу, как за Дашей гоняешься с ножом, и считай, что ты свое отжил.

Погони и угрозы прекратились сразу. В Городке знали Кожевниковых и считали, что лучше с ними не связываться. Мясники умели постоять за себя и друг за друга.

Файвл – племянник Захара Кожевникова – работал до революции на электростанции. Не удивляйтесь, до революции в Городке была электростанция, и стояла она на реке Горожанке. Хозяином предприятия был немец. За что-то он рассердился на Файвла и ударил его по голове молотком. Файвл выжил, но с головой у парня стало плохо. Кожевниковы собрались вместе и решили, что за парня надо отомстить. Кто-то рассказал об этом немцу, и он, бросив все, немедля убежал из Городка.

Но мы отвлеклись, давайте вернемся к истории семьи Прусов. В России часового дела, как такового, до начала двадцатых годов XX века не было. Практиковалась только сборка часов. Получали из Швейцарии комплектующие детали и собирали. Велвл Прусс обратился в Совет Народных Комиссаров, где у него были хорошие знакомые, соратники по революционной борьбе, с предложением, что он готов организовать часовое производство в России. Его услышали и уполномочили этим заниматься. Выделили деньги, чтобы закупил оборудование, на первое время комплектующие детали. И в 1926 году Велвл Прусс с большим грузом прибыл в Москву. Он – один из тех, кто строил часовые заводы в Москве и в Куйбышеве.

Приехал из Швейцарии с женой, четырьмя детьми, которые по-русски не могли связать двух слов. Старший сын Исаак вскоре стал инженером, хорошим специалистом в часовом деле, помогал отцу. Дочь Рашель пошла учиться на французское отделение института иностранных языков. Младшие – Карл и Дора, жили с мамой. Отца они видели редко. Он верил в светлое будущее и не жалел ради этого времени и сил.

В голодные годы Алта приезжала в Москву, брат помогал ей продовольствием, давал деньги, и по ночам она стояла в очередях в коммерческих магазинах, покупая хлеб. А потом

отправляла его в Городок, детям. Этот хлеб, может быть, спас семью Кожевниковых от голодной смерти.

Старший сын Захара и Алты – Иосиф, названный в честь деда, в 1932 году уехал в Москву к дядьке. Он учился в фабрично-заводском училище на токаря, а потом работал на часовом заводе.

Велвл помогал многим родственникам. Он забрал в Москву и сестру Дашу вместе с ее новой семьей.

В 1923 году в Городке появился бежавший из Польши политэмигрант Моисей Зигельман. Он быстро сошелся с Дашей. Они переехали в Витебск. Зигельман стал народным судьей. Причем специализировался в основном на еврейских делах. В то время в Белоруссии было четыре государственных языка, и судопроизводство могло вестись на любом из них: белорусском, русском, еврейском и польском. Многие местечковые жители, особенно люди пожилого возраста, плохо знали русский или белорусский язык и предпочитали говорить на идише. Такие дела поручали Зигельману, прекрасно владевшему еврейским языком.

У Моисея и Даши родилось четверо детей: Маня, Лиля, Женя и Эдик. Велвл Прусс перевез сестру с семьей в Москву, помогал первое время: пока Моисей учился в Московском высшем техническом училище им. Баумана. По окончании училища Моисей работал на Куйбышевском часовом заводе.

В 1937 году Велвла и его старшего сына Исаака посадили в тюрьму как «врагов народа». Приговор, страшный по своей сути, был обычным для того времени – расстрел. (Оба посмертно реабилитированы.)

Как только Моисей Зигельман узнал об аресте Велвла, он немедленно отправил всю семью в Городок, подальше от глаз сталинских опричников. (Сказался опыт подпольной работы в Польше.) А буквально через несколько дней приехал в Городок и сам. Ночевать, на всякий случай, уходил к соседям. Знал, что арестовывать приходят по ночам. И надеялся обмануть чекистов. (Наивный, разве можно было сравнивать их с польской полицией?!) Так прошло полгода. Когда первые страсти улеглись, Моисей перебрался в Подмоскowie и устроился в артель, которая ремонтировала измерительные приборы. По всей

видимости, работник он был хороший, и хотя старался не высываться, все равно оказался на виду. Когда началась Великая Отечественная война, его срочно перевели работать на завод в Челябинск, где изготавливали приборы для авиации. Дочь Велв-ла Рашель к этому времени вышла замуж за азербайджанца Исмаилова, который учился в Московской Высшей партийной школе. Потом его отправили в Киргизию на руководящую должность. Он решил вступить за арестованных родственников и доказать, что произошла ошибка. Написал письмо Сталину. На свободе оставался ровно столько, сколько шло письмо сначала туда, а потом почта с нарочным – обратно. Арестовали «за потерю революционной бдительности».

Рашель с двумя детьми переехала к родителям мужа в Баку. А Геня, жена Велв-ла Прусса, осталась в Москве с двумя детьми. Карл стал крупным инженером. Дора поступила учиться в театральное училище, но ее оттуда исключили, когда узнали, что в семье Пруссов «враги народа».

Так среди Кожевниковых и Пруссов закончились династии мясников и часовщиков. «Мы наш, мы новый мир построим...», – пели строители нового мира и перечеркивали, часто пулями, все, что было до них.

В первый класс Рувим Кожевников пошел в городокскую еврейскую школу. Кроме нее, в Городке работали еще две белорусские школы. В учебных заведениях была одинаковая программа, но в еврейских школах учебники на еврейском языке и, соответственно, все предметы шли на этом языке, а в белорусской – на белорусском.

Рувим Захарович вспоминает: «Вывеска была на четырех языках: еврейском, белорусском, русском, польском. Примерно с четвертого класса мы начинали учить белорусский язык и литературу, а с шестого – русский. Нас учили прекрасные педагоги. Химию и зоологию вели сестры Эпштейн. Историю – замечательный учитель, воспитанник городского еврейского детского дома Азарх».

Судьба Рувима Кожевникова складывалась так, что в жизни несколько раз он мог остаться инвалидом, потеряв ноги. В шестом классе Рувим заболел скарлатиной. Положили в «заразную»

больницу – так тогда называли инфекционную. Дело шло на поправку. Перед выпиской мальчика решили помыть в бане и простудили. Когда привезли домой, поднялась высокая температура и отнялись ноги. Рувим мог только ползать, встать на ноги не было сил. Алта делала настои из трав и корней, Рувима сажали в бочки с этими настоями, растирали ноги травами и песком, его лечили бабки-знахарки. Мальчик был очень слаб, и поначалу говорили, что он и вовсе не жилец, а потом болезнь начала отступать и Рувим встал на ноги. Правда, шестой класс он пропустил и, несмотря на слезы, вынужден был остаться на второй год. Для Рувима это был позор: он – второгодник. И стал мальчик учиться еще прилежнее, еще серьезнее.

В 1938 году еврейскую школу закрыли. Как официально сообщали: «По просьбе родителей учеников».

Рувим Захарович утверждает, что никаких просьб в Городке не было. Более того, родители возмущались, особенно старики. Стали вспоминать царское время, черту оседлости, процентные нормы, антисемитизм.

Всех учеников школы перевели в белорусскую школу № 3. Собственно говоря, просто поменяли вывеску на школе. Учителя и ученики остались прежние. Только преподавание велось теперь на белорусском языке. А про еврейский уже и не вспоминали. А через год белорусскую школу сделали русской. Наверное, по мнению властей, для полной победы интернационализма. Правда, никто не задумывался, что тем самым калечили детей, воспитывали у них пренебрежительное отношение к целым народам, их культуре, истории. Никому не было до этого дела. Все были только колесиками и винтиками в новой социалистической машине...

В довоенном Городке оставались две русские школы и одна белорусская.

Сталинская национальная политика, безусловно, давала свои отравленные всходы, но даже она не могла в одночасье разрушить мир, в котором десятилетиями в согласии и дружбе жили люди.

В довоенном Городке было привычно, что белорусы, русские свободно говорили на идише, евреи – на русском, белорусском.

Правда, поколение Мойше Кожевникова – деда Рувима, плохо знало русский или белорусский язык. Отец и мать Рувима уже свободно говорили и на еврейском, и на русском языках. А дети и вовсе не задумывались, на каком языке общаться.

На улице жило всего несколько нееврейских семей, поэтому идиш здесь был языком межнационального общения.

Дом довоенного друга Рувима Бориса Скряги стоял напротив, через дорогу.

«Люди жили тяжело, в нужде, но дружно, – вспоминает Рувим Захарович. – Боря Скряга был года на два старше меня. Наши семьи были, как родственники. У Бориса была сестра Тамара, моего возраста, и родители тетя Дуня и дядя Саша. И зачастую мы больше общались с тетей Дуней, чем с мамой. Мама работала, а тетя Дуня была дома.

Когда мне было лень лишний раз читать учебник, я кричал через дорогу:

– Борис, иди почитай мне домашнее задание.

И он читал мне учебники по геометрии, зоологии, литературе. Естественно, все учебники были на еврейском языке.

Мы жили, как одна семья. Борис и Тамара кушали у нас, мы кушали у них. И все было как-то вместе.

Моим другом детства был Александр, сын Ивана Петровича Евдокимова. Александр Иванович дослужился до генерал-майора. Живет в Москве.

Однажды в Городке приехавший на родину Евдокимов встретил друга детства подполковника Абрама Массарского, тоже приехавшего навестить родные места. Они обнялись, стали расспрашивать друг друга и как-то незаметно перешли на идиш. Люди, проходившие мимо, ничего не понимали. Два высших офицера Советской Армии, их земляки, говорили друг с другом на непонятном языке.

Рядом с нами жила семья Ефремовых. Там было пять или шесть детей, – вспоминает Рувим Захарович. – Все они были значительно старше меня. Недавно умерла последняя из семьи – Нюша. Когда я приезжал в Городок, она говорила со мной по-еврейски.

Мы – дети, не понимали, как можно огорчить друг друга. У старших, конечно, было куда больше проблем, но все равно дружба была абсолютной”.

Чем занимались, как проводили время дети тридцатых годов, оторванные от традиционных укладов, свято верившие, что религия – это опиум для народа?

В Городке еще действовала синагога. Был раввин, шли службы, но ходили в синагогу только люди преклонного возраста. Рувим Кожевников ни разу в синагоге не был. Более того, проходя мимо синагоги, он, как и его школьные товарищи, бросал в форточку мусор. Так боролись с религией.

В тридцатые годы идеологического вакуума не было. Энтузиазм первого поколения, рожденного при социализме, был удивительным. Дети, да и взрослые верили в светлое будущее. Продолжалась борьба с классовыми врагами.

В городском саду по вечерам крутили фильмы. Устанавливали передвижку, и Хаим Соломинский, который начал работать киномехаником в 1927 году и проработал в кинофикации Городка 68 лет, звал пацанов, чтобы они крутили динамомашину. Это считалось большим везеньем. А с экрана Чапаев на картофелинах объяснял Петьке военную стратегию, и всем было понятно, что мировая революция обязательно победит и это вопрос скорого времени.

В Городке работала детская техническая станция. Ей руководил прекрасный педагог Орлиевский.

«Светлая голова, мастер на все руки. Он и механик, и электрик, и преподаватель труда, – вспоминает Рувим Захарович Кожевников. – Мы пропадали на детской технической станции целыми днями. В 1939 году сделали модель электрифицированной железной дороги. Она была диаметром три метра. Ездили электровозы с вагонами, были проложены рельсы, мигали светофоры, поднимались шлагбаумы. Наше изделие экспонировалось в Москве на Выставке достижений народного хозяйства СССР, его установили в Павильоне юных техников. Городокские ребята ездили на ВДНХ. О нас писали в газетах».

Все мы родом из детства. И наши увлечения, порой незаметно для нас самих, закладываются именно в эти годы.

Наверное, и пристрастие к изобретательству у Рувима Захаровича идет с детских лет.

«Мы читали детские газеты, — когда Рувим Захарович вспоминает, на его лице блуждает улыбка, — еврейскую газету «Юнгер ленинец», белорусскую «Чырвоная зорка» и русскую «Пионерская правда». «Чырвоная зорка» заочно зачисляла в кружки авиамоделистов и автомоделистов. Присылали официальные удостоверения. Мы дома делали модели педальных автомобилей, самолетов на резиновом приводе. Для постройки авиамоделей требовались сосновые палочки. Я с Борисом Скрыгой зимой на лыжах ходил за три километра на Воробьевы горы. Спилили маленькую сосну и из нее настрогали палочки. Хотя рядом было полно сосновых досок. Но в газете было написано, что нужна сырая сосновая реечка. И мы старались сделать все, как было написано.

Я всю жизнь благодарен своему дяде Абраму Кожевникову. Он был старше нас с братом, учился в сельхозтехникуме. Но находил время для нас — мальчишек, старался многому научить. Меня он научил читать уже в четыре года. От Абрама мы узнали, как устроены и работают автомобили, тракторы, паровозы, под его руководством мастерили различные модели машин. Перед войной Абрама Шаевича призвали в армию. Он служил подводником на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией. Вернувшись после войны на родину, работал в МТС, в сельском хозяйстве. Был одним из лучших руководителей в области”.

Вместе с младшим братом Вулей Рувим пошел записываться в аэроклуб. Вулю зачислили, а Рувима покрутили на тренажере и сказали: «Не годен». Вуле выдали форму, комбинезон, очки, шлем, он даже летал. И вдруг обнаружили, что Вуля по возрасту не подходит. Самые молодые курсанты должны быть с 1923 года, а Вуля — с 1925 года. Захар Кожевников пошел к друзьям и принес сыну справку, что он родился на два года раньше, и Вуля продолжил занятия в аэроклубе.

19 июня 1941 года в школе был выпускной вечер. Рувима Кожевникова хвалили на все лады. Его мама сияла от счастья. Говорили, что он будущее светило математики.

«Я действительно никогда не смотрел в учебники, как надо доказывать теоремы, — вспоминает Рувим Захарович. — Хотя учебники я, конечно, читал, готовился к урокам. Но когда задавали теоремы, мне было важно знать, что дано и что требуется доказать. Я по-своему все решал. Меня к доске в школе не вызывали. Только если что-то было серьезное и ни у кого не получалось, говорили: «Кожевников, к доске». Я шел к доске и все решал».

На выпускном экзамене по алгебре и тригонометрии преподавателям в конвертах принесли задачи, которые ученики должны были решить. Никто этих задач в классе не решил. Преподаватель тоже сел решать, но, видно, у него не получалось, он нервничал, все время подходил к Рувиму и спрашивал: «Ну, как у вас, Кожевников?». «Я решаю», — отвечал Рувим. Время экзамена закончилось. Один Кожевников решил задачи. Было такое напряжение, такая усталость, что после экзамена, придя домой, он лег на кушетку и как будто провалился. Через два часа его разбудили. Срочно вызвали в школу.

Сидит экзаменационная комиссия.

— Расскажите, как вы решили эту контрольную? — спрашивают у него.

— Не знаю, — отвечает Кожевников. — Решил и все.

Оказывается, в конверте для средней школы оказались задачи для института. Кто-то что-то напутал. Экзамен опротестовали. Назначили новую контрольную. Кожевникову поставили отличную оценку по первой контрольной.

Официальная пропаганда после заключения пакта Молотова — Рибентропа утверждала, что войны с Германией не будет, мол, Советский Союз и Германия теперь друзья. И только англо-американские империалисты, которые всю жизнь загребают жар чужими руками, хотят столкнуть в конфликте Советский Союз с Германией. Но все равно в воздухе пахло войной. Какие-то невидимые флюиды подсказывали, что сойдутся Советский Союз и Германия в смертельной схватке. Те, кто любил с друзьями поговорить о политике, делали это очень осторожно и при посторонних мгновенно умолкали, вспоминали недавние войны в Абиссинии, Испании, кто был начитанней, повторял слова Димитрова: «Фашизм — это война».

В середине июня стали потихоньку вызывать в городокский военкомат военнообязанных. Им вручали повестки. И ночью, захватив с собой пару портянок, кружку, ложку, продовольствия на три дня, они уходили в западном направлении. Забрали и трех сыновей Шаи Кожевникова, уже отслуживших срочную службу в армии: Янкеля, Лейбу и Шлему. Говорили о возможных учениях. Всеобщей мобилизации в стране объявлено не было.

После окончания школы Рувим собирался поступать в Севастопольское военно-морское училище. Там учился друг детства Белохвостов. Старший брат Белохвостова уже окончил училище, потом там учился средний, а следом и младший поступил туда же. Все трое приезжали на каникулы в Городок и говорили: «Рувка, ты должен к нам идти учиться. Нам толковые ребята нужны». Рувиму очень нравилась военно-морская форма. Белохвостовы были симпатичные, фигуристые ребята. Они интересно рассказывали о своей жизни. Долго уговаривать Рувима Кожевникова не пришлось. Он забрал в школе аттестат, собрал все необходимые справки и отправил почтой в Севастополь. Со дня на день должны были вызвать на учебу.

От Сталинграда до Берлина

22 июня Рувим пошел на рыбалку на Луговое озеро. Стоял солнечный теплый день. Хорошо клевала рыба. Рувим радостный возвращался домой и услышал: «Война, война, война». Кто-то плакал, кто-то уверенно говорил, что через неделю война закончится, фашистов разобьет наша героическая Красная Армия. И мы будем в Берлине.

На бывшей рыночной площади на столбе висела огромная радиотруба, в домах были радиотарелки, люди собирались и слушали. Сначала выступил Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сказал, что враг будет разбит и победа будет за нами. Городокские пацаны, и Рувим вместе с ними, были даже в какой-то мере в восторге: будем участвовать в войне, будем побеждать, бить фашистов. Потом выступил Иосиф Сталин и сказал, что весь народ должен подняться на борьбу с врагами. Думаящие люди сразу стали задавать вопросы: «Зачем поднимать

весь народ? Зачем собирать народное ополчение? Видно, дела не такие уж победные». О положении на фронтах никто и ничего толком не знал. В начале войны не было Совинформбюро, звучали сводки Главного командования Красной Армии. В них сообщалось, что наши войска ведут тяжелые бои, отбивают атаки немцев, уничтожено много вражеской техники.

Буквально через дней пять после начала войны через Городок потянулись на восток беженцы: голодные, измученные. Их кормили, чем могли, и они уходили дальше. Говорили: «Немцы творят ужасы, надо быстрее уходить». Люди стали смотреть на войну другими глазами. Никто уже не вспоминал песню: «Мы врага победим малой кровью, могучим ударом...»

4 июля немецкие самолеты впервые бомбили Городок.

Выпускники городокских школ записались в народное ополчение. Им говорили, что надо ловить диверсантов и шпионов. Начальник Осавиахима выдал всем винтовки, по десять патронов и гранате. В школе было военное дело, и ребята знали, как пользоваться оружием. Их вывозили за Городок, они укладывались с винтовками в поле и ждали шпионов.

К концу первой июльской недели к ребятам прикомандировали двух старших сержантов с треугольниками в петлицах. Днем ополченцев кормили в городской столовой, ночью они спали в школе в полной боевой... Однажды привели в лес и сказали: «Вот отсюда должен пойти немец. Будем его встречать и бить». За ночь ребята окопались. Утром огляделись — старших сержантов и след простыл.

Собрались и стали думать, что делать дальше. Вдруг по дороге, откуда должны были идти немецкие солдаты, едет какая-то автомашина. Ребята командуют: «Стой». В кузове раненые красноармейцы лежат. Выходит из кабины лейтенант и спрашивает: «Это что за войско собралось?». Ребята отвечают: «Народное ополчение. Будем драться с фашистами». Лейтенант на них стал ругаться матом, а потом говорит: «Посмотрите, что от нас осталось. А у меня были красноармейцы, не вам чета, обученные. Винтовки, чтобы не таскать, сложите в кузов и следуйте за мной». Даже старшего не назначил. Ребята шли, шли, а потом разбрелись. На дороге беженцы, табуны скота — все смешалось,

кругом неразбериха. Самолеты бомбят, из пулеметов обстреливают. А потом пошел слух, что впереди немецкие танки.

Ребята шли сначала на Сураж, потом на Ржев. В Ржеве тоже полный хаос и неразбериха. Собралось много ополченцев и беженцев из разных городов и местечек. Стали их на платформах отправлять на восток. Правда, на узловых станциях работали продовольственные пункты. Людей кормили.

Рувим вместе с братом Вулей оказался в Татарии. Где родители, что с ними – ничего не знают. Рувим, как старший, решил пойти на работу в колхоз и дать возможность младшему брату окончить школу.

Кожевниковы ходили в военкомат и просили отправить их добровольцами на фронт. Им отказывали: «Ждите. Придет ваше время». А потом вдруг повестка пришла младшему Вуле. Хотя он и 1925 года рождения, но отец для занятий в аэроклубе прибавил ему в документах пару лет. И теперь он числился призывного 1923 года. Рувим решил, что это несправедливо, ведь фактически он старший, и стал писать бумаги в военкомат с требованием забрать его в армию. Его отправляли обратно работать в колхоз. Он пошел к комиссару. Тот выслушал и сказал: «Пройдешь медкомиссию – заберу». Хотя были строгие указания: ребят моложе восемнадцати лет на фронт не брали.

Так Рувим и Вуля Кожевниковы попали в армию.

...Март 1942 года. Шли пешком километров сто пятьдесят, потом их посадили в составы и повезли по железной дороге. Наконец, прибыли в Саранск. Братья были в телогрейках, лаптях и портянках. Тех, у кого было среднее и незаконченное высшее образование, отбирали в минометно-пулеметное училище. Никто не хотел слушать, что Вуля занимался в аэроклубе, самостоятельно летал. Проучились Кожевниковы в минометно-пулеметном училище шесть месяцев. Выпускников отправляли на фронт командирами взводов. Если экзамены сдавали хорошо, давали звание лейтенанта или младшего лейтенанта, если к учебе были не способны – становились сержантами.

Курсанты рвались на фронт, а выпускникам сказали, что надо еще полтора месяца поучиться. Осваивать минное и саперное дело. Перед окончанием учебы приехал в училище

полковник из Москвы. Сказал, что говорить с ребятами будет, как с офицерами, и чтобы из стен училища информация никуда не ушла. Так курсанты впервые узнали правду об оперативной обстановке на фронтах, которая сложилась осенью 1942 года, правду о войне. Никто не ждал такого разговора, и после него все ходили молчаливые и угрюмые.

Выпускников училища погрузили в эшелоны и отправили под Сталинград, где разворачивалась решившая войну битва на Волге. Братья попали в одну часть.

«К этому времени вышел приказ Сталина № 238, – вспоминает Рувим Захарович. – Страшный приказ: ни шагу назад. Появились заградительные отряды. Они должны были стрелять по своим, если те станут отступать. Мы этот приказ под расписку получили».

Недели через полторы боев в Сталинграде Вулю засыпало кирпичами. Мина попала в здание. Рухнула стена. Он был рядом. Его откопали, увезли в госпиталь. Мне немедленно об этом сообщили. В госпитале Вулю подлечили, но он был уже не тот человек.

Под Сталинградом Рувим Кожевников провоевал месяца полтора. Был из тех считанных командиров взводов, кто вышел из этой мясорубки без серьезных ранений.

Их часть перекинули в Калининскую, затем – в Воронежскую область. А оттуда под Орел. Начиналась грандиозная битва на Курской дуге. Рувим был командиром взвода противотанковых пушек. Бои были ужасные и в воздухе, и на земле. Казалось, все вокруг стреляло, горело, плавилось. После того, как сорвался план немецкого наступления, войска вермахта стали очень аккуратно отходить. Ночью жгли села и отходили на три-пять километров. На участке, где воевал Кожевников, главной задачей наших войск было «сесть немцам на плечи», то есть не дать закрепиться на новых позициях.

Рувима Захаровича ранило у города Кромы. Утром, на рассвете, в часть примчался майор из штаба полка и стал кричать: «Что вы здесь сидите? Наши уже давно в Кромах. Вы здесь со своим воинством окопались». До Кром было километра два-три.

Город находился на возвышенности. До него надо было пройти через заливной луг и перебраться через два ручья.

«Раз наши в Кромах, чего мы сидим? Никто этого не понимал, — рассказывает Рувим Кожевников. — Никакой другой информации у нас не было. И мы отправились. Прошли первый ручей, миновали заливной луг, переправились через второй ручей. До города рукой подать. И тут немцы как рубанули нас из пулеметов. Они, оказывается, еще были в Кромах».

Это было 4 августа 1943 года. Дата стала вторым днем рождения Рувима Кожевникова. Потому что только случай помог ему остаться в живых.

Разрывная пуля попала в бедро. Сознания он не потерял. Только почувствовал сильный удар в ногу. Боли никакой. Боль появилась потом. Снял с офицерской планшетки тонкий ремешок и перетянул ногу. Кровь все равно шла, хотя заметно меньше. Пополз к своим. Трава была мокрой от росы, и виден был след, тянувшийся за ним.

Немцы вышли из города и стали добивать раненых. Кожевников полз не прямо назад, а чуть в сторону. Он дополз до ручья, оглянулся и увидел здорового немца с автоматом, который шел по его следу. В этот момент Кожевников потерял сознание.

Очнулся в ручье. К счастью, голова была на берегу, а тело в воде. Очень болел бок. Вероятно, немец, решив, что лейтенант уже мертв, ударил его ногой в бок и сбросил в ручей.

Нога у Рувима Захаровича не болела. Наоборот, в воде было легко и хорошо.

«Пришел я в себя и начал лихорадочно соображать, как выбраться отсюда, — вспоминает Кожевников. — Плыть надо было метров пять-шесть. Ручей не перейдешь. Топко, чернозем. Плаваю я хорошо. В Городке все плавают, кругом озера. Через заливной луг полз часа три. Роса высохла. День жаркий. Нога болтается, не слушает меня. С горем пополам дополз до второго ручья. Там наша пехота. Я ползу к ним, а они по мне стреляют. Я кричу им: “Не стреляйте, свои”. А они мне в ответ: “Тут все свои”. Правда, не добили меня. Дополз до берега, где они сидели. Говорю им: “Помогите, перетащите”. Часть была

чужая, я никого не знал. А они мне: “Вот здесь, рядом с тобой, лейтенант убитый из нашей части лежит. Нам его тащить надо, чего мы тебя таскать будем”. В конце концов, появился санитар. Я ему: “Перетащи и сдай меня в санчасть”. У него были носилки на колесиках и четыре пса в упряжке тащили эти носилки. “Хорошо, — отвечает санитар, — я тебя перетащу, но имею право только на три километра от передовой, не дальше. Ты из чужой части. А потом я обязан вернуться”. И за то ему спасибо. Оттащил немного от передовой и оставил на дороге».

Вскоре шла повозка с ранеными, Рувима Кожевникова подобрали и доставили в госпиталь. Правда, госпиталь снова был чужой части, но вскоре однополчане узнали про ранение лейтенанта, приехали за ним и перевезли в свой медсанбат.

Рана была забита грязью.

— Ногу надо ампутировать, — сказали врачи.

Но потом посмотрели на молодого лейтенанта и решили отправить в корпусной госпиталь, все же там врачи поопытней, вдруг спасут ногу. Но и там сказали: «Ампутация». Ампутировать можно было только с согласия раненого, если тот был в сознания. Если без сознания — доставляли в госпиталь, составляли акт, врачи подписывали под ним, указывали, что другого выхода нет. Кожевников не согласился на ампутацию.

— Если останусь жить, то с двумя ногами, если умру, тоже с ними, — сказал он.

Ему не было еще и двадцати лет. Вся жизнь впереди: ходить на танцы, провожать девушек как же можно без ноги. В госпитале составили акт — раненый отказался от ампутации. Фронтовых медиков судили, если смертность превышала допустимую норму. “Пускай умрет в дороге, у соседа, только не у меня”, — такие мысли диктовал принцип самосохранения. И Рувима отправляли из госпиталя в госпиталь. Быстро, чтобы, не дай бог, чего не приключилось. Наконец, добрался до Горького. Температура высоченная. На рану льют карболку вместе с реванолью. В горьковском госпитале работала какаято медицинская комиссия. Старшему доложили о Кожевникове. Он заинтересовался упрямым лейтенантом, который, по прогнозам врачей, давно должен был умереть.

– В операционную, хочу посмотреть, – приказал он.

Сняли бинты и подставляют под ногу таз эмалированный. Из раны посыпались белые черви. И мясо осталось чистое, без гноя.

– Ну, упрямец, останешься с двумя ногами, – сказал врач.
– Черви весь гной сожрали. Скажи им спасибо.

Из госпиталя отправили Рувима в Москву в запасной офицерский полк. Кожевников примчался к тете Гене Прусс, а она говорит: «Вуля здесь. Вот вы и встретились».

Вулю после госпиталя тоже отправили под Курск командиром взвода. Был снова тяжело ранен, перебило обе ноги и контузия. Без костылей ходить уже не мог. Лечили в Баку. Рашель, дочь Велвла Прусса, его опекала. Когда Вуля стал понемногу приходить в себя, он приехал в Москву. Думал, отсюда до Города недалеко, доберется, узнает, что с родителями. А может, надеялся, что дома быстрее окрепнет.

«Худой, изможденный, – вспоминает Рувим Захарович. – Я с ним был недели две. Потом меня из запасного полка отправили в Муром на переформирование. Часть готовилась к отправке на фронт. Я забежал к тете попрощаться с ней, с Вулей. Уговаривал его, чтобы пошли и вместе сфотографировались. После того, как я уехал, Вуля жил всего сорок минут. Скончался от кровоизлияния в мозг. Не мог он перенести своего состояния. Так я потерял младшего брата. Ему не было еще и двадцати».

Наверное, у Кожевникова записано в Книге жизни быть работягой, пахарем. Таким был его отец, который не понимал, как можно сидеть без работы, такими были его дядьки и двоюродные братья, торговавшие мясом или строившие часовые заводы. Хотя Рувим Захарович не верит в Бога, а верит только в то, что подтверждено наукой, он из тех редких материалистов, которых жизнь нещадно била, но не смогла из них выбить идеи, заложенные еще в юном пионерской возрасте. Кожевников и войну прошел, как работяга. Он, и такие, как он, вытаскивали на себе не только пушки, они вытащили на себе Победу. Он начал и закончил войну Ванькой взводным, выше по должности не поднялся. Еще удивляюсь, как получил четыре боевых ордена, да еще медали. Таких не только звания и должности, таких и

ордена обычно обходили стороной. Всегда в нужный момент почему-то они находились далековато от штаба и от командования, не умели вовремя льстивое слово сказать, даже не понимали, зачем и кому это нужно, если каждый день, каждый час убивают людей.

Кожевников не боялся лезть в самое пекло, не прятался за чужими спинами, воевал честно, и это было настолько очевидным, что, когда писали наградные листы, не могли обойти его стороной.

Первый орден Красной Звезды получил в Белоруссии за сражения на речке Проня (это недалеко от Бобруйска), где были очень тяжелые бои.

«Под Бобруйском вызвал меня командир части и говорит: “Ты, Кожевников, из Городка. Тут недалеко. Я дам тебе десять дней. Езжай и узнай, что дома, что с родителями... Как доберешься, не знаю”. Или директива такая была, чтобы местных отпускали узнать, как дела дома, или мой командир был добрый человек», — рассказывает Рувим Захарович.

Конец февраля 1944 года. Дороги разбиты, темнеет рано. Ехать надо было на перекладных, в окружную. Витебск еще был занят немцами. Добрался Кожевников до Великих Лук. Города фактически не было. Его смели артиллерией и бомбежками с лица земли. Зашел на продпункт получить талоны на завтрак, обед и ужин. Давали бумагу с печатями или сухой паек. Продпункт размещался в дощатом сарае, разделенном на две части. В одной стоял железный сундук с документами, было маленькое окно в стене и предбанник. Комендант начал выписывать Кожевникову документы. Началась очередная бомбежка. И комендант тут же исчез. Побежал прятаться от бомб. Кожевников заглянул в окошко: железный сундук открыт, и в нем полно продовольственных аттестатов.

«Единственный раз в своей жизни я был вором, — говорит Рувим Захарович. — Зашел в дверь и набрал продаттестатов».

Кончилась бомбежка, возвращается комендант.

— Ты еще здесь? — удивленно спросил он.

— Я здесь и был.

- И никуда не убегал?
 - Никуда не убегал.
 - А чего стоишь здесь?
 - Продаттестат жду, – ответил Кожевников.
- И комендант выписал ему еще один продаттестат.

Одной из первых, кого Кожевников встретил в Городке, была мама Героя Советского Союза Соболевского, врача-полярника, плававшего на ледоколе «Седов». Сегодня в Городке есть улица, названная в его честь. Соболевские были родственниками соседей Рувима Захаровича – Дуни и Бориса Скрыга. И он хорошо их знал.

Соболевская ходила по продпункту и собирала крошки со столов.

– Рувка, дорогой мой, жив, – заплакала она и стала рассказывать, как издевались фашисты над ней, били ее за то, что она мать Героя. А сейчас у нее нет никаких документов, и она вынуждена побираться.

Кожевников отдал ей пачку продаттестатов. И отправился к себе домой.

Уже стемнело, когда он подошел к дверям, к которым шел долгих три года войны. Постучал, но его никто не торопился впускать. Наконец, из дому ответили:

- Комендант распорядился в дом постояльцев не пускать.
- Я не постоялец, я пришел к себе домой, – ответил Кожевников.
- Не пуцу, – ответили из-за дверей. – Мы здесь живем.

Рувим Захарович пошел к соседям, к Ивану Петровичу Евдокимову. Тот принял его, как родного. Усадил за стол, достал бутыль самогона и стал рассказывать. Узнал от него Рувим о расстреле родителей и родственников...

Когда немцы в Городке организовали гетто и стали загонять в него всех евреев, Кожевниковых спрятала соседка Дуня Скрыга. Так продолжалось несколько недель. А потом Алта Кожевникова сказала, что они пойдут в гетто.

- Зачем тебе туда идти? – спросила Дуня.

– За укрывательство евреев расстрел, сама знаешь. Не могу я вами рисковать.

– Тогда бери мой паспорт. Переклей фотографию. Ты на еврейку не похожа. И уходи. Кто-нибудь поможет.

– А что будет с мужем? Он уйти не сможет. Сама знаешь. А его оставить я не смогу. Что будет со всеми, то будет и с нами.

Они обнялись на прощание, и родители Рувима Захаровича ушли в гетто.

Дуня Скрыга передавала им еду, бросала через проволоку картошку, свеклу, пока об этом не сообщили в полицию. Сообщила та женщина, что заняла дом Кожевниковых. Дуню Скрыгу схватили, били, пытали, изуродовали, а потом выбросили на берег реки. Дочке Тамаре сообщили, что мама лежит без чувств. Соседи принесли Дуню домой. Но она так и не поправилась и вскоре умерла. А потом умерла и ее дочь Тамара.

Та, что стала хозяйкой дома Кожевниковых, до войны жила недалеко от них. Муж был механиком в старой бане. У них было трое или четверо детей. Когда наши освободили Городок, банщик стал мыть советских солдат. Мыться надо при любой власти. И его дом, вернее, дом Кожевниковых, освободили от постоя.

Рувим Захарович долго сидел молча, ошарашенный этими новостями.

Наступило утро следующего дня. Кожевников поднялся с табуретки, достал из кобуры пистолет и сказал:

– Пойду и пристрелю эту суку.

Его уговаривали, держали за руки, но остановить было нельзя.

Он ворвался в свой дом. Посмотрел, что в углу висит икона, и сказал:

– Ползи, сука, к иконе, кончать тебя буду.

Женщина заплакала. Стала молиться.

– Я ни в чем не виновата. Это злые люди наговорили.

– Сейчас тебя пристрелю и дом сожгу. Все прахом пошло, пускай и дом сгорит.

Хозяйкина дочка лет двенадцати незаметно вышмыгнула за двери и побежала к коменданту за помощью. Незамедлительно

пришел комендантский надзор, два автоматчика. Проверили документы и потребовали у Кожевникова следовать за ними.

Комендант Городка, майор, выслушал Рувима Захаровича и сказал:

– Сколько здесь людей погибло, сколько уничтожено, и ты еще приехал самосуд устраивать... Без тебя разберутся, кто в чем виноват. Я тебе сочувствую, живи здесь, сколько захочешь. Но пистолет сдай мне. Будешь уезжать – верну.

А вскоре привели к коменданту пленного немца. У него висела фляжка со шнапсом. Майор понюхал его и налил немного шнапса немцу. Пускай выпьет, вдруг отравленный. Потом комендант с Кожевниковым допили этот шнапс.

Рувим Захарович пробыл в Городке четыре дня.

Уже после войны от очевидцев страшных событий Кожевников узнал подробный рассказ о расправе над родственниками, над всеми евреями Городка. Рувим Захарович вспоминает, что до войны у него в Городке было много родственников, 40 или 50 человек. Почти все они лежат в братских могилах на Воробьевых горах и в Березовке.

Вот что рассказывают очевидцы расправы над евреями Куксинские. Это свидетельство было опубликовано в книге «Трагедия евреев Белоруссии в 1941–44 гг.».

«Первой мерой немцев против евреев было введение желтой “латки” на спину, на правое плечо. Это была не звезда, а круг. Ввели ее практически сразу, как заняли город. После этого долго ничего не было.

Второе, что немцы устроили, – это грабеж. Объектами грабежа стали не все евреи, а наиболее богатые жители улиц Карла Маркса, Староневельской и других районов. Целью этой акции было не столько обогащение, сколько разжигание межнациональной вражды. Немцы ходили с полициями, заходили в дома побогаче и выволакивали на улицу вещи, демонстрировали русским еврейское имущество и предлагали забрать его себе, самые лучшие вещи все же брали сами. На многих это подействовало, и многие русские тогда поживились за счет евреев, многие другие, однако, отказались от участия в грабеже,

так что немцам подчас приходилось побуждать к этому русских, угрожая оружием. Некоторые из таких русских, забирая вещи, просили у хозяев-евреев прощения.

Третьим мероприятием немцев и полицаев был погром. Тут немцы уже прошли через все еврейские дома. Показывали предатели. Кто еще, кроме соседей, мог знать, где живут евреи?

...На свободе евреи прожили недолго, несколько недель. Их использовали на принудительных работах, большей частью бессмысленных. Одной из таких работ была уборка улиц. Состояла она в том, что евреи руками должны были вырывать траву, росшую на улицах.

В конце этого “свободного периода” и состоялся первый расстрел – в Березовке. На него согнали молодежь: крепкую, здоровую, в основном мужчин, но были и молодые женщины. Предлогом были принудительные работы – строительство каких-то укреплений. Евреям приказали собраться с лопатами, отвели в Березовку и расстреляли – очень много народу, это был самый большой расстрел.

...Где-то в середине лета для оставшихся после Березовского расстрела евреев создали гетто. Гетто было на горе, оно спускалось по склону реки и заканчивалось рекой. Гетто было огорожено колючей проволокой и охранялось полицией, однако имело выход к реке, где можно было брать воду...

Из гетто многие уходили. Основной способ был – переправиться через речку на ту сторону. Но идти было некуда. Партизан еще не было, брать в дома большинство боялось, притом было много предателей. Поэтому многие возвращались назад...

Расстреливали группами в течение многих дней, но не каждый день. Немцы опять забирали людей под предлогом «на работу», но все уже знали, куда берут. Начали, как прежде, с более молодых и здоровых... Вывозы у немцев проходили с трудом. Дети прятались в печных трубах, немцы вытаскивали их за ноги.

Во время расстрела на Воробьевых горах ни попыток сопротивления, ни попыток бегства не было, особенно под конец. Оставались старики и женщины с маленькими детьми – бежать было некому. Приведенные сами себе рыли могилы. Немцы

стояли рядом, разговаривали, хохотали».

В Городокском гетто было расстреляно, замучено, уничтожено около 2000 человек.

«Двоюродный брат моего отца Слейме Кожевников, — рассказывает Рувим Захарович, — был очень красивый и толковый человек. Познакомился он до войны с русской девушкой. Женились. Хотя смешанные браки в те годы в Городке были редкостью. Но дядя Шая, отец Слеймы, смотрел на эти вещи спокойно. Говорил: «Важно, чтобы человек был хороший».

У Слейме и его жены родились два мальчика. Перед самой войной Слейме забрали в ар-

мию. В свою часть, в неразберихе первых дней войны, он так и не попал и вернулся в Городок. А там уже хозяйничали немцы. Женя, его жена, была очень симпатичная женщина, и она приглянулась немецким офицерам.

Жили они в Волковом посаде. Днем Слейме прятался в лесу — в надежде найти партизан, а по ночам приходил домой за едой, одеждой. Соседи заметили это и донесли в полицию. В одну из ночей немцы и полицаи окружили дом. Слейме успел выскочить. Он убегал по огороду и сумел оторваться от преследователей, но пуля настигла его.



*Памятник узникам Городокского гетто
в Березовке.*

Не вернулись с войны и оба брата Слейме – Янкель пропал без вести, а Лейба погиб в 1942 году в боях под Вязьмой.

После смерти мужа Женя в открытую скрутилась с немцами. Оправдывалась, что только так могла спасти детей, которые наполовину были евреями.

Когда в 1944 году немцы отступали на запад, за Женей захватила грузовая машина, забрала ее и двух детей: Эдика и Семика пяти и шести лет от роду. Никто не знал в Городке, куда она уехала, что с ней. А если и знала оставшаяся здесь мать, то она молчала, боясь навлечь неприятности и на себя, и на дочь. Оказывается, Женя с немцами бежала через Польшу на запад и осела в Чехословакии. Там вышла замуж за чеха и родила еще одного ребенка – дочь. Сыновья подросли, им нужно было оформлять необходимые документы, и они заинтересовались, кто их отец. Женя вынуждена была все рассказать.

«Где-то в 1963 или 1964 году получаю я телеграмму, – продолжает рассказ Рувим Захарович. – Текст такой: “Встречайте. Эдик, Семик”. Телеграмма не понятная для меня. Кого встречать, не знаю. Поехал на Белорусский вокзал, простоял все утро, никого не встретил. Звоню домой, а мне жена говорит: “Приезжай, тебя гости ждут дома”. Оказывается, они написали в Городок бабушке. Та узнала мой адрес и сообщила им.

Один из гостей был инженер-электронщик, другой – офицер чехословацкой армии. Носили фамилию Кожевниковы. Они были у нас в Москве неделю. Им понравилось. Старший Семик даже хотел вернуться в Россию. Мы переписывались, а потом наступил 1968 год и “пражская весна”, когда страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, чтобы не допустить никаких политических перемен в стране. Братья написали письмо в Москву, что их все стали называть русскими и им сейчас непросто жить. Для них будет лучше, если они перестанут получать письма из Советского Союза».

...Но это было спустя четверть века. А в самом начале весны 1944 года Рувим Кожевников возвращался в свою часть, уже зная страшную правду о погибших родителях, о замученных родственниках и друзьях.

Потом были бои за Минск и Гродно.

Река Неман делит Гродно на две части. Восточную часть советские войска заняли штурмом, а в западной – закрепились немцы. Оборона была мощной, эшелонированной. Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину уже доложили, что наши войска взяли Гродно. И когда высокопоставленные чиновники поняли, что случился конфуз и могут полететь их головы, войска получили приказ: «Гродно взять в кратчайшие сроки».

«На форсирование Немана выделили и мой взвод, две мои пушки. Сколотили мы плоты. Восточный берег Немана пологий, западный – крутой. Высота метров двадцать и глина, ноги скользят, – Рувим Захарович вспоминает, как будто это было не шестьдесят лет, а всего несколько дней назад, обстоятельно, со многими деталями и подробностями. – На западном берегу наши пехотинцы, человек пятьдесят, удерживали небольшой плацдарм. Немцы вместе с власовцами их “глушили”. Собирались раздавить танками. И чтобы встретить эти танки, мои пушки перебросили на западный берег. Потащили мы их наверх, кое-как окопались. А пехота под натиском немцев отступает к берегу, и кое-кто уже чапает через воду. Тяжелая обстановка. Пушки не бросишь. А расчеты редуют с каждым часом. Стал я собирать вокруг пушек пехоту, которая ползет назад. Немец давит нас минометами. Соберу человек десять, которые отступают без командира. Переночуем. От собранных один-два человека остаются. Остальные убегают. Три дня я на этом проклятом плацдарме был. Многих поубивало, ранило. Немцы кричат: “Сдавайся”. Мы снаряды экономим. Кое-когда “плюнешь” из пушки. Немецкие танки гудят, но не идут. То ли боялись, что их в упор расстреляют, то ли думали, что пехота сама справится. На четвертый день наши пошли в наступление справа и слева от плацдарма и дали общий огневой налет. Они считали, что мы все погибли. Пришли все же на наши огневые позиции: отчитаться надо, что уцелело и в каком состоянии. Нашли меня и еще нескольких солдат оглушенных, но живых. После этого плацдарма меня сразу кандидатом в партию приняли».

Затем часть, в которой служил Кожевников, попала под Асовец — город и крепость в Восточной Пруссии. Там тоже были затяжные, кровопролитные бои. Оборону держали немцы и власовцы. Власовцы сражались отчаянно. Они понимали, что им приходит конец, и дрались, как раненые звери.

Войну Рувим Кожевников заканчивал южнее Берлина. Там находилась сильная немецкая группировка, составленная из отборных эсэсовских частей. Они сражались с упорством обреченных.

С самолетов разбрасывали листовки, что война уже закончилась, Германия капитулировала, а они отвечали на это огнем. Бои продолжались до 13 мая. За последние бои Великой Отечественной войны Кожевникова наградили орденом «Красного Знамени». На груди 22-летнего старшего лейтенанта был настоящий иконостас: четыре ордена, две боевые медали «За Варшаву» и «За Берлин».

На реке Эльба воинская часть, где служил Кожевников, встретилась с союзниками — американцами.

Молодого, толкового офицера никто не хотел отпускать из армии. А Кожевников стал оббивать начальственные пороги с одной просьбой: «Увольняйте. Хочу учиться». Кто по-хорошему, а кто и матом объяснял молодому офицеру, что из армии так просто не уходят. А он настырно стоял на своем.

Изобретательством Рувим Захарович занялся еще во время войны. Кругом грохотали орудия, свистели пули, и каждая могла найти тебя, а он думал о том, как, например, провести в землянку электрический свет. Не жилось ему, как всем остальным, которые для освещения жгли кабель-катушку. Казалось бы, все просто, дневальный тянул кабель вниз, он догорал доверху, его опять отматывали и за ночь сжигали катушку. Кожевникову это не понравилось. Он достал автомобильный аккумулятор и сделал пропеллер над блиндажом, который круглые сутки вертелся и подзаряжал аккумулятор. Когда ветра не было, лампочка горела от аккумулятора, когда был — напрямую от пропеллера. Начальство говорило: «Чудик. Кругом война, а он какие-то прибамбасы придумывает».

«Я мечтал учиться в артиллерийской академии в Москве, — вспоминает Рувим Кожевников. — В 1946 году впервые приехал в Москву в отпуск к дяде Борису ...и женился на Жене.

Жена — коренная москвичка. Мы были знакомы еще до войны. Дядя Велвл жил в одной коммунальной квартире с Жениными родителями, и мы познакомились. После госпиталя, когда я находился в Москве в запасном офицерском полку, мы встречались с Женей. Потом она писала мне письма на фронт. И у нас была негласная договоренность, если живым останусь — женимся. В 1946 году Женя оканчивала институт. Она по специальности — инженер-гидравлик. И мне очень хотелось учиться. У жены — диплом, а у меня всего 10 классов и непонятное училище».

Рувим Кожевников в день свадьбы. Москва, 1946 г.

После войны Рувим Кожевников стал командиром минометной батареи. Военная карьера сдвинулась с точки и стала набирать обороты. Можно было рассчитывать и на новые звания, и на новые должности. Ведь возраста всего ничего. Но, наверное, у Рувима Кожевникова мозг повернут в другую сторону. Он думал, ломал голову над тем, как, например, избежать двойного заряжания миномета. Причем



удовлетворение ему, как и раньше в школе, когда надо было доказывать теоремы, доставлял сам процесс решения головоломок. Эта была своеобразная игра с самим собой, очередная попытка победить неизвестность.

На войне часто случались несчастия из-за двойного заряжания миномета. Мину опускают в ствол сверху вниз. Если мина не дошла до байка, расчет может прозевать выстрел. Особенно, когда идет прорыв обороны и земля кругом трясется, этот выстрел и не слышен, и не виден. И на первую мину, что не дошла до байка, опускают вторую. Две мины взрываются в стволе. Разворачивают ствол орудия, и гибнет весь расчет.

Кожевников решил придумать устройство, которое бы исключало двойное заряжание. Считал, решал, конструировал. Что-то стало вырисовываться. Командир полка посмотрел на эти разработки и сказал: «Ты башковитый мужик. Если отпустим, то только в академию».

Опытный образец надо было делать на одном артиллерийском заводе под Берлином. Кожевников туда съездил, обсудил все детали предстоящей работы.

В это время к нему в батарею пришел новый взводный. Какой-то невзрачный, бледный и худой. Все жаловался на жизнь: «Мать в колхозе. Пухнет с голода. Кушать нечего». Кожевникову стало жалко взводного, он поселил его у себя дома. Солдаты не любили нового взводного, он артиллерии не знал, сержанты проводили вместо него занятия. Говорили, что командиры орудия лучше объясняют, чем взводный. Но Кожевников старался не обращать на это внимания. «Научится, — думал он. — Надо помочь парню».

Их часть стояла под Лейпцигом. И чего греха таить, молодые офицеры-победители по вечерам частенько выпивали. Нормой считался «фаус» (то есть большая бутылка) на двоих.

Взводный все время заводил разговоры про трудную жизнь. А Кожевников, после стакана спиртного, поддерживал их:

— Когда там порядок будет в России? — говорил он. — Куда там наш мудрый и всенародный смотрит? Когда бардель кончится?

Кожевников добился, чтобы взводному после четырех месяцев службы дали досрочный отпуск и он съездил домой. Дал ему денег на дорогу. Кожевников с батареей отправлялся на стрельбы на полигон. Прихватил взводного и довез его до железнодорожной станции. Даже посадил в вагон.

Приговоренный к жизни

Стрельбы батарея провела на отлично. Кожевников получил благодарность от командира дивизии. Двум сержантам дали внеочередные отпуска. Только вернулся Рувим в часть, как к нему домой прибегает дежурный по штабу и говорит:

– Комбат, вас вызывает командир полка.

Кожевников подумал, его хотят еще раз поблагодарить за отличную стрельбу.

Заходит к командиру полка. Сидят у него в кабинете два незнакомых капитана. Командир полка явно в расстроенных чувствах:

– Старший лейтенант, эти два капитана хотят вами заняться.

– Пожалуйста, – отвечает Кожевников, не чувствуя никакого подвоха.

– Где ваше жилье? – спрашивают у него.

– Здесь, рядом.

– Мы вас предупреждаем, что вы не имеете права от нас отлучаться.

Подошли к дому, где жил Кожевников.

– Мы обязаны провести у вас обыск.

Только после этих слов Рувим Захарович понял, что происходит что-то чрезвычайное, что может сломать его жизнь, и, встревоженный, спросил:

– В чем дело?

– Потом разберемся, – ответили ему.

В комнате у Кожевникова провели обыск. Перевернули все вверх дном, но ничего не нашли, кроме чертежей нового устройства. У старшего лейтенанта стояла чертежная доска. Наверное, это удивило особистов – зачем артиллеристу чертежная доска. И они забрали ее с собой. Вероятно, думали, что внутри

может быть что-то спрятано. За углом дома стоял «воронок» с конвоем. Погрузили в «воронок» все, что показалось подозрительным. Кожевникова предупредили:

– Шаг влево, шаг вправо – конвой применяет оружие без предупреждения.

Кожевников был уверен, что его с кем-то перепутали. Батарея, которой он командовал, находилась на отличном счету. Он – кавалер боевых орденов, фронтовик.

Рувима Захаровича заперли в тюремной одиночке в Веймаре. Просидел целую неделю. Никто его не вызывал. Потом ему стало понятно, что таким образом просто щекотали нервы.

Но Кожевников думал о другом.

Хорошо, что жену отправил домой. А то было бы сейчас слез видимо-невидимо. А так разберутся, его отпустят, а Женя об этом даже не узнает. Недавно вышло постановление, что все окончившие высшие учебные заведения и не работавшие три года по специальности лишались диплома. Рувим с Женей решили, что жене надо возвращаться в Москву, устраиваться на работу, и вскоре там они встретятся. Рувим и Женя каждый день писали друг другу письма. И разлука ощущалась не так сильно.

Еще он думал о приборе, который обязательно пройдет все испытания и будет применяться на деле.

Кожевникова вызвали к следователю. Разговор был короткий. От него требовали признаний.

– В чем признаваться? – не понимал Рувим Захарович.

Он не был ни в плену, ни в окружении, член партии.

– Ты у капитана, который умер в госпитале, украл документы, – сказали ему. – И теперь выдаешь себя за Кожевникова.

Рувим Захарович не знал, что ответить на такое дикое обвинение.

– Ну ладно, долго ты молчать не будешь. Есть спецкабинеты, где ты сможешь все обдумать и прийти в себя. В карцер, – приказал следователь и, когда Кожевникова выводили, добавил, – чтобы одумался.

Рувима Захаровича привели в карцер и закрыли. Он огляделся по сторонам, и взгляд уткнулся в холодные бетонные стены.

Пенал метр тридцать на метр тридцать и высокий потолок. Лечь на пол нельзя. На тебя все время смотрят через дверной глазок, и тут же следует команда: «Встать». Пища – кружка теплой воды и кусок хлеба. Вот и весь дневной рацион. Брюки держишь в руках. Все ремешки срезаны. Но все это терпимо. Самое страшное – это собственные мысли, которые не дают покоя. Почему? За что? Десять дней провел Кожевников в карцере. Когда его выводили из камеры, он от изнеможения чуть стоял на ногах.

Дело вел особист майор Силин. Он высыпался днем и допросы проводил ночью. Но когда раздавался крик: «К следователю», это считалось счастьем. Слава богу, не в карцере, а у следователя.

У Силина было красное сытое лицо, и даже его внешний вид действовал Кожевникову на нервы. Вопросы следователь задавал одни и те же, вернее, он требовал во всем признаться. Кожевников не понимал, в чем он должен признаваться, и молчал на допросах.

– Будешь молчать, пойдешь в карцер на повтор, – говорил следователь, не отрывая глаз от бумаг. Он все время что-то писал. И это тоже действовало на нервы. Что он пишет? Кожевников терялся в догадках.

На арестованного были направлены яркие лампы, они слепили глаза. Так продолжалось не один час. Были и другие садистские издевательства... Через несколько дней Силин вызвал Кожевникова на очередной допрос и сказал:

– Ну, падла, от этого ты отбился. Не украл ты у капитана в госпитале документы.

– Да я ни от чего не отбивался, – вздохнул Кожевников.

– Молчи. Тебе слова не давали.

Видно, за эти дни следователь навел в Городке справки и выяснил, что перед ним сидит настоящий Кожевников Рувим Захарович.

– А сейчас приступим к основному, – продолжил следователь. – Рассказывай о своей антисоветской деятельности. У тебя дядька – «враг народа» – расстрелян. У тебя двоюродный брат – «враг народа» – расстрелян. И ты – такой же. Рассказывай.

- Нечего мне рассказывать, – растерянно сказал Кожевников.
- Опять пойдешь в карцер.
- Пойду.

И здесь следователь стал вслух читать бумаги, которые лежали у него на столе.

В такой-то день был разговор со взводным. Ты говорил, что в колхозах бардель. Там не могут навести порядок руководители партии и правительства. Если бы они умнее и толковее были, все сложилось бы по-другому.

– Был такой разговор? – крикнул следователь.

– В колхозах плохо, у любого спросите, – повторил Кожевников. – Офицеры приезжают из отпусков, рассказывают.

– Значит, был такой разговор...

– Был...

Записывает: «Будучи злобно антисоветски настроен, вел разговоры, подрывающие устои...»

Кожевников позже понял, что новый взводный, который постоянно провоцировал его на откровенные разговоры, был стукачом и его специально перебрасывали из части в часть.

Через много лет Рувим Захарович узнал, что взводный Вася Чижов в это самое время, когда его допрашивали, был в Москве в гостях у его жены. Жил там несколько дней. Он знал, что его сослуживец арестован, и сказал Евгении Игнатьевне при отъезде, что мужа своего она больше никогда не увидит: погиб он в железнодорожной катастрофе, когда ехал на опытный завод, где делали прибор, предохраняющий от двойного заряжания. И с этими словами Вася Чижов ушел. А потом прислал письмо Евгении Игнатьевне, что готов заменить ей мужа. Растерянная, ничего не понимающая Евгения Игнатьевна написала несколько писем в часть, где служил Кожевников. Долгое время на ее письма никто не отвечал. А потом пришла бумага из райвоенкомата, что Кожевников Р.З. арестован и осужден, как враг народа...

Через пару дней Кожевникова вызвали на новый допрос.

– Фильм «Молодая гвардия» отказывался смотреть? Говорил, что этот фильм муть? – допытывался следователь Силин.

Кожевников действительно не пошел смотреть в клуб фильм «Молодая гвардия» и сказал, что он этот фильм смотрел раньше, там много надуманного. Следовательно пишет: «Будучи злобно антисоветски настроен, отказался смотреть патриотический фильм “Молодая гвардия”».

Прислали к ним в батарею молодое пополнение из Рязани, Казани. Старшина докладывает Кожевникову:

– Молодые солдаты часто по ночам плачут.

– Как плачут? – не понял старший лейтенант.

– Накрываются по ночам одеялом с головой и плачут, – подтвердил старшина.

«Надо проверить, в чем дело», – подумал Кожевников и ночью пришел в казарму. Действительно, человек пять-шесть не спали. На глазах слезы...

Утром командир батареи вызывает этих солдат к себе. Спрашивает:

– В чем дело?

Они вместо ответа дают ему почитать письма из дома. А там вся горечь жизни в послевоенной деревне. Остались одни женщины и дети. Есть нечего, одеться не во что. И в каждом письме: «Служи верно и проси твоего начальника, может, тебя отпустят хоть на время, чтобы ты нам помог».

Пошел Кожевников к замполиту. Вместе с ним он был на фронте и поэтому доверял подполковнику.

– Надо как-то помочь этим семьям, – сказал Кожевников.

– Конечно, надо, – ответил подполковник. – Но у меня таких писем целый мешок. Я тебе доверяю. Есть с десятков бланков части и заготовленный текст. Пиши на имя районных военкоматов, чтобы они семьи обследовали и по возможности оказали помощь. А внизу ставь «палку» и расписывайся за командира части. У меня нет возможности на все письма отвечать.

Кожевников забрал бланки и стал писать письма.

Трем или четверем солдатам пришли из дома сообщения, что дали пуд муки или дрова привезли. А остальным ответа не было. Кожевников понял, что через военную цензуру проскочили не все письма.

И конечно, об этой переписке стало известно особому отделу.

— Ты решил опозорить Советскую власть, — сказал следователь Силин. — Посчитал, что Советская власть не заботится о своих гражданах. Завел у себя собес. Кто тебя уполномочил писать письма в военкоматы? Кто тебя уполномочил на них расписываться? Ты это делал, чтобы дискредитировать Советскую власть...

И пишет: «Будучи злобно антисоветски настроен...»

— Ты занимался восхвалением Троцкого среди офицеров, — продолжал Силин.

— Я эту фамилию ни разу даже не произносил, — только и успел сказать Кожевников.

— Пытаешься ввести нас в заблуждение, ничего не выйдет. Твой дядька был троцкист, брат двоюродный был троцкист, и ты из той же породы.

Когда обвинительное заключение было составлено, Рувиму Захаровичу уже было все равно, что там написано. Лишь бы скорей закончился этот ад. За несколько месяцев его довели до такого состояния, что двадцатипятилетнему, недавно женившемуся парню, не хотелось жить. Следователи разрушили все, во что он верил, ради чего воевал. Для него слово «коммунист» было святое. Сейчас он, оказывается, враг народа, враг коммунистов. Это не укладывалось в его сознании.

Кстати, верным идеалам коммунизма Кожевников оставался до последнего дня. Это удивительно: пройдя сквозь сталинские лагеря, узнав всю правду о страшном режиме, пережив безвременье девяностых годов, он, тем не менее, утверждал, что коммунистические идеалы — замечательные, но люди, стоявшие у власти, их опорочили.

«Задумка прекрасная, — говорил он. — Но досталась идиотам и бандитам».

...Следователь, прочитав обвинительное заключение, сказал:

— Распишись, что ты ознакомлен.

Рувим Захарович подписался, даже не перечитывая лист.

— А ты знаешь, что за это бывает? — спросил следователь.

— Мне все равно, что будет, — ответил Кожевников.

Суд над Кожевниковым был скорым, впрочем, все суды-«тройки» того времени были одинаковыми. Дело было поставлено на конвейер. Сидели два майора и подполковник. Завели арестованного. Справа и слева стоял конвой.

— Приговариваетесь к высшей мере, — металлическим голосом сказал подполковник. — Приговор понятен?

— Понятен, — чуть слышно ответил Кожевников.

— Последнее слово будет?

— Будет, — Рувим Захарович говорил то, что лежало на душе. — Я никогда не был врагом Советской власти. И все, что написано в обвинительном заключении, — это блеф. А если вы меня решили расстрелять, я ничего против этого сделать не могу. Стреляйте.

— Увести, — приказал подполковник.

Кожевникова привели в камеру смертников. Спустя шестьдесят лет он, улыбаясь, даже с юмором, рассказывал о тех днях.

— Там кормят хорошо, из офицерской столовой еду носили. Ел с удовольствием. Охранники спрашивали: «Добавку будешь?». Я отвечаю: «Неси». Они смотрели на меня, как на психа.

Камера смертников отличалась от обычной даже тем, что здесь не было наглухо закрывавшейся двери. Дверь открыта, в ней решетка и приговоренный все время находится под наблюдением. Нельзя ложиться головой к стене, надо — головой к решетке.

«Днем еще ничего, а по ночам в голове была какая-то муть, — вспоминает Рувим Захарович. — Какие-то бредовые сны одолевали... Сон это или не сон, сам не понимаешь. Сумасшествие какое-то в голове. А днем спокойней. Хотя все время думаешь, когда за тобой придут».

...Пришли через три дня.

Кожевников сказал:

— Я уже готов.

А ему в ответ:

— Решением Президиума Верховного Совета СССР тебе заменили смертную казнь на 25 лет лагерей.

«Тут уж харчи хуже стали, – продолжал рассказывать Кожевников. – Я по-прежнему сидел в тюрьме в Веймаре. Меня перевели в общую камеру. Там было человек десять или двенадцать. Полицаи, жандармы, бандюги всякие. Полтора месяца продержали в этой камере».

«Друзья народа» – так называли на тюремном жаргоне уголовников, сидели отдельно от «врагов народа».

Потом Кожевникова этапировали в тюрьму немецкого лагеря смерти Заксенхаузен, переоборудованного под новый контингент заключенных. Ему говорили, что рядом с его камерой когда-то сидел немецкий коммунист Эрнст Тельман.

– Неплохое соседство, – думал Кожевников, и это был, пожалуй, единственный повод для улыбки. В лагере он просидел месяца два. В камере шесть человек: изменники родины, власовцы, казаки, перешедшие на сторону Гитлера, и он, кавалер отобранных судом четырех боевых орденов.

Потом был общий этап. Всех построили на апельплаце и провели проверку. Приказы следовали один за другим:

– Раздеться догола... Приседать... Открыть рот...

Переодели в немецкую форму. Большого издевательства над советским офицером, прошедшим войну, придумать было трудно. Впрочем, лагерное начальство вряд ли думало об этом. Оставалась на складах немецкая форма. Куда ее девать? Заключенным пойдет. Колонны арестантов погнали к вагонам и погрузили.

Приговор у Кожевникова был с конфискацией имущества и поражением в правах. Про поражение в правах, то есть невозможность голосовать и быть избранным, он вспоминал с улыбкой. А вот слово «конфискация» было куда болезненней. Забрали родительский домик в Городке. Но там все равно некому было жить. А когда пришли в московскую коммуналку, где жила Евгения Игнатьевна с родителями, и стали описывать имущество, они стали спрашивать, возмущаться: «При чем тут мы?». Кто их слушал? Правда, и описывать-то было особенно нечего. Тесть работал механиком, теща – домохозяйка. А жена только-только устроилась на работу по специальности в

научно-исследовательский институт. С работы ее, естественно, выгнали, как жену «врага народа». И тестя заставили с работы уйти. Семья бедствовала, пока Евгения Игнатьевна и ее отец – почти через год и с трудом – не устроились на работу.

...Состав с заключенными шел больше месяца. Иногда по-долгу стоял на полустанках, в тупиках. Зима. Январь. В вагонах не то что холод – мороз. На вагон одна маленькая печка, которая должна была топиться. Но топить ее было нечем. Давали ведро угля на два дня. Каждую ночь проверка заключенных. Кожевникова назначили старшим по вагону.

Поднимались гэбэшники с деревянными молотками на длинной ручке. Командовали: «Всем принять вправо. Не задевая печки, конвоя, под счет, по одному, бегом марш. Справа налево». И бьют молотками – считают так. Бьют куда попало: по рукам, ногам, голове. И если счет не совпадает или сбились со счета, то повторяют команду, только теперь «бегом марш слева направо». Редко-редко, когда вечерняя поверка обходилась одним подсчетом. Иногда приходили гэбэшники и просто издевались над заключенными. Для них они были изменниками родины и врагами народа.

Кормили баландой. Бачок с ней поднимали в вагон «друзья народа» – уголовники. Им вообще-то вольготней жилось. Они пристраивались в службу, на кухню, в хлеборезку. Мисок ни у кого не было. Наливали баланду кому во что: в пилотки, в подол, ели руками.

Куда везли заключенных, в вагоне никто не знал. Все окна заколочены. Но догадывались, что поезд шел на восток. Гадали, где эшелон сейчас: в Монголии или Китае?

Где-то в Сибири заключенных и вовсе перестали кормить. Не давали еды несколько дней. А потом бросили в вагон каждому по селедке: большой, жирной. Ни воды не дали, ни хлеба. Голодные люди мигом съели селедку вместе с требухой. Вскоре началась дикая жажда. Было это специальным изощренным издевательством, или никто не думал о заключенных? Как получилось – так получилось. «Разве они люди?» – считали охранники.

На дверях вагона был большой нарост льда. Его сосали по очереди, чтобы хоть как-то утолить жажду. Сосали насквозь промерзшие металлические болты. Но разве это могло спасти от жажды? И весь эшелон на последнем издыхании стал требовать: «Воды. Воды». Везли более тысячи заключенных. Представляете, какой вопль стоял над сибирской тайгой. Поднялась стрельба. Охранники стали кричать, что перестреляют всех. Но, видно, дошло, что дело может закончиться плохо не только для заключенных, но и для охраны.

Открывается дверь вагона. На рельсах стоит охрана с автоматами наизготовку и с собаками. Слышна команда:

– Старший по вагону – на выход.

Один из охранников заскочил в вагон. И когда Кожевников собирался выходить, ударил его сзади. До земли было больше метра. Рядом шел второй путь. Кожевников упал и ударился головой о шпалы. Подняться не мог. Его подняли, поставили в круг и стали по очереди бить кулаками в лицо. Били нещадно. Он упал снова и потерял сознание.

«Как меня забросили в вагон, не помню, – рассказывал Рувим Захарович. – Очнулся от чувства, что меня обмывают водой. Оказывается, когда избивали, в вагон поставили бачок с водой. И бендеровцы или полицаи сказали: «Пока не вернете старшего, никто до воды не дотронется». Вот вам и солидарность людей, с которыми я воевал в годы войны. Когда я пришел в себя, меня первым напоили водой. Пил сколько хотел.

Привезли в Анджеро-Судженск – город в Кузбассе. Поставили состав в тупик. Пути от снега расчищены, а снежные откосы высотой метра три. Наверху стоят местные пацаны и кричат: «Айн, цвай...» Только потом заключенные поняли, почему им кричали немецкие слова: они были в форме гитлеровской армии, и местные ребята решили, что привезли очередную партию пленных.

Далеко, в полукилометре от тупика, была водонапорная башня, а наверху развевался красный флаг. Кожевников понял, что они в Советском Союзе.

Их загнали в лагерь, где раньше сидели японские военнопленные. Местные жители разграбили все, что могли. Ни окон,

ни дверей, ни труб. Внутри барака – снега до потолка. Или, точнее, сохранялось пространство в один метр до потолка, не заполненное снегом. Погнали заключенных в тайгу, нарубили лапник. Немного расчистили снег в бараках, настелили принесенную хвою, и ночлег готов.

Кожевников скоро схватил двустороннее воспаление легких. Вообще, в лагерях никто не рассчитывал, что заключенные будут долго жить, и поэтому на больных никто не обращал внимания. Спас Кожевникова врач-майор, который сидел вместе с ним. Офицеров, прошедших войну, было немало среди эков Анджеро-Судженска. Майору дали десять лет лагерей. Кожевников знал его еще по службе в Германии. Он жил с немкой. А это запрещалось. К нему должна была приехать жена. Он пришел к подруге-немке и говорит: «Все, фрау, завязываем». А когда он ушел на службу, фрау достала из шкафа все его вещи, запаковала их. Потом привела гэбэшников и сказала, что ее сожитель хочет бежать к американцам сегодня ночью через демаркационную зону. Майора тут же арестовали и дали ему десять лет.

Врач грел кирпичи на костре и обкладывал ими Кожевникова. Молодость и помощь соседа по бараку помогли выкарабкаться. Правда, после болезни Рувим Захарович весил всего 37 килограммов. Ходить самостоятельно не мог, передвигался, держась за стенку.

Кожевников написал письмо жене. Ему с трудом давались строки, и не потому, что он был совсем слаб. Он с болью доставал из сердца нужные слова: «Ты молодая, интересная, славная женщина. Я тебя ничем не обязываю. Ты вправе устраивать свою жизнь так, как считаешь нужным».

Каким-то чудом в лагерь попала газета «Вечерняя Москва». Вернее, страничка этой газеты. В те годы городские газеты печатали объявления о разводах. Кожевников с любопытством перечитывал газетные строки, для него это была весточка с воли, пока случайно не наткнулся на слова: «Кожевникова Евгения Игнатьевна разводится с Кожевниковым Рувимом Захаровичем». Трудно, а то и невозможно пересказать чувства, которые он испытал в тот момент. Позднее он понял, что это был необходимый

шаг, чтобы выжить и спасти всю семью. Иначе и Евгении Игнатьевне, и ее родителям грозили лагеря. Жена сохранила все эти трудные годы и чувства к нему, и верность.

Старший брат Рувима – Иосиф Кожевников, который в это время занимал какую-то важную должность на Сталинградском тракторном заводе, после допросов прилюдно отказался от своего брата.

Что это была за народная власть, которая могла заставить отказаться от брата мужественного, храброго человека? Иосиф прошел всю войну, был дважды тяжело ранен, командовал зенитным дивизионом, дослужился до майора. Никто на фронте не мог сказать, что он когда-нибудь струсил. А в мирное время, не перед лицом врага, а перед людьми, с которыми вместе воевал и работал, он отказался от брата. Но, наверное, судить о его поступке могут только те, кто сам прошел круги сталинского ада.

...Постепенно, ближе к весне, в бараках забили оконные проемы. Да и Рувим Кожевников немного окреп.

На работу гоняли за семь километров, на строительство шахты. Летом было терпимо, дорога не казалась длинной. А зимой, когда завьюжит, каждые пять-семь минут меняли впереди идущих. Они протапывали дорогу в глубоком снегу и выбивались из сил.

Заключенные по-прежнему ходили в немецком холодном обмундировании, не приспособленном к сибирским морозам. К концу зимы привезли брюки и гимнастерки из госпиталей, окровавленные, с дырами и заплатами. А на следующую зиму заключенным выдали разбитые валенки, и люди ремонтировали их цементным раствором. Раствор держался, пока человек стоял на месте.

Весной в лагерь привезли тапочки, сшитые из кусочков кожи. Вероятно, кто-то из снабженцев ГУЛАГовской системы рапортовал, что эки обеспечены обувью до самой зимы. Но тапочки продержались у кого неделю, у особо бережливых – две. А потом расползлись по кусочкам. Эки обматывали ноги тряпками и так ходили. Везло тем, кто находил старую автомобильную камеру. Из нее получалось несколько пар обуви. Камеры

разрезали, получалось что-то вроде галош, которые веревками или проволокой приматывали к ноге.

В лагере была санчасть. Фельдшер мог даже освободить от работы на день-два, если к нему приходил серьезно больной зэк. Но все считали, если уж фельдшер освободил от работы, значит больной долго не протянет. Смертей среди заключенных было очень много. Умирили от болезней, от голода, от переживаний. Людей косил туберкулез, свирепствовала цинга.

Вокруг лагеря был высоченный забор, затем шла «запретка» – запретная зона, куда зэк не имел права ступить. Лагерь стерегла охрана с собаками.

Везло тем энкам, кто попадал кормить собак, работал в собакарне. Собакам полагался хороший паек, норма была больше, чем у заключенных.

Заключенным говорили: «Не сдохнешь сегодня – сдохнешь завтра. Ты товар отработанный. Что ты думаешь, выживешь, что ли? Не мечтай. Не про тебя сказано. Сдохнешь, тебе привяжут бирку и в яму».

В лагере вместе с Кожевниковым сидел офицер, служивший в одной части с ним. Сказал что-то не совсем лозунговое о колхозах и получил десять лет лагерей. Был здоровый, физически сильный молодой человек. А в лагере начал хиреть, опух. «Все равно отсюда не выйдем, – часто повторял он. – Мне жить надоело. Я обречен». Лежал на нарах и не хотел, и не мог ходить на работу. Кожевников с друзьями буквально насильно вытаскивал его из барака, тащил с собой до шахты. За него вкалывали, делали норму. А он сидел в сторонке и безучастными глазами смотрел. Вокруг него стали собираться баптисты. Служителей разных культов в лагерях хватало. Баптисты что-то рассказывали ему, внушали.

Этот человек просидел шесть лет. После смерти Сталина его помиловали. Он, когда услышал об этом, тут же заявил:

– Буду служить Богу.

– Вася, ты что? – опешил Кожевников. В те годы ему казалось, что слова «священник», «бог» из какого-то древнего прошлого.

– Бог меня спас, – ответил Василий.

Были в лагерях такие, и немало, что сходили с ума. Бегали по бараку и кричали всякую несурезицу. Их увозили. Куда? Никто об этом не знал.

Нередко заключенные кончали жизнь самоубийством.

Кожевников был убежден, что выживет, выйдет на волю.

Майор, сидевший вместе с ним, бывший начальник финчасти, получивший срок за бытовые дела, попросту говоря, проворовавшийся, говорил в сердцах:

– Все равно подохнем. Ты – точно, ты – «запечатанный на 25 лет», – указывал он на Кожевникова.

– Нет, выживу. Все равно выживу, – уверял других, а главное себя, Рувим Захарович.

Лагеря были общие. В них содержали и мужчин, и женщин, и детей. На детей и женщин было страшно смотреть. Жили, конечно, мужчины и женщины в разных бараках, но условия были одинаково ужасные. Только где-то в 1951 году в ГУЛАГе задумались то ли о морали заключенных, то ли о чем-то другом, но стали расселять мужчин и женщин в разные лагеря.

В одном бараке теперь жили вместе «воры в законе», «рядовые» уголовники и политические. Уголовники держали свой порядок. Но «мужиков» – так называли тех, кто шел по политической статье, не трогали. А когда все же случались сцепки, «мужики» организовывались и давали отпор.

Каждый вечер на плацу была безымянная переключка. Просто подсчитывалось количество заключенных.

Дружба между заключенными пресекалась лагерным начальством. Действовал принцип: больше трех не собираться. Сговор людей – это первый шаг к побегу, бунту. И лагерное начальство тут же разводило друзей, отправляло по этапу в другие лагеря подальше от знакомых мест.

Рабочий день длился обычно десять часов. В крутых лагерях – пока норму не сделаешь. А нормы были дикие. Кожевников сидел в лагерях Анджеро-Судженска, Прокопьевска, Кузнецка, Кемерова.

Где-то в 1952 году в лагерях стали появляться газеты, радиоточки, даже библиотеки открылись.

Переписку с волей в лагере разрешали, но она была нормированной и, естественно, все письма читала цензура.

На шахте, где работал Кожевников, днем вкалывали заключенные, а по ночам – вербованные.

Из центра страны в Кузбасс привозили завербовавшихся людей. Чаще всего это были бомжи, пьяницы, бродяги. Им платили подъемные, одевали, давали общежитие, кормили. Они две-три недели работали, пропивали обмундирование, постельное белье и разбегались. Набирали новых, пытаясь доказать, что труд может перевоспитать человека. (Кроме того, на шахтах не хватало работников.) Заключенные их подкармливали, отдавали свою порцию каши и договаривались, что оставят в определенном месте письмо, те заберут и отправят его.

Где-то в начале пятидесятых годов от Евгении Игнатьевны стали, время от времени, приходить продуктовые посылки. Ей и самой было очень тяжело, но она экономила, собирала деньги и отправляла посылку в лагерь.

В лагере от эзков, хотя среди них были и полицаи, и бендеровцы, и гитлеровские прислужники других мастей, Рувим Захарович антисемитизма не чувствовал.

Кроме него на зоне были и другие евреи, причем немало. Были те, кого Голда Меер сагитировала уехать в Израиль. По Москве после ее приезда пошли слухи, что Голда Меер встречалась с руководителями партии и правительства и те дали согласие, чтобы часть демобилизованных евреев ехала в Израиль строить там советскую власть. Слухи имели под собой какую-то почву, но, скорее всего, выражали чувства евреев Советского Союза, которые гордились тем, что появилось еврейское государство, и хотели ему помочь. Многие написали заявления с просьбой отправить их в Палестину. Их отправили, только не на Ближний Восток, а на Дальний. И тоже по 58-й статье – «изменники Родины».

Когда в Москве разыгрывалось «дело врачей», лагерное начальство, естественно, решило перестраховаться и провести на

зоне «еврейскую чистку». Особенно активных евреев наказать, чтобы было, чем отчитаться.

Однажды, когда Кожевникова пригнали с работы в лагерь, его выдернули из колонны прямо в чем был и, ничего не сказав, увезли на кузове самосвала. Зима. Мороз и ветер. Одежда не согревает. Привезли в закрытую тюрьму Прокопьевска.

— За что? — Кожевников не понимал. Вроде, нигде не проштрафился, все было тихо и спокойно.

Режим в тюрьме строжайший. В камере по десять человек: отказники, то есть те, кто отказывался работать, блатные, религиозные деятели и прибалты. Прибалтов было много — тех, кто в годы войны сотрудничал с немцами, кто не хотел быть под Советами. На работу гоняли паровозом. Каждый сзади идущий держал руки под мышками у впереди идущего. Если один идет с левой ноги, значит, вся колонна должна так идти. И усиленный конвой. В прокопьевской тюрьме готовили дальние этапы, откуда возврата уже не было.

В один из дней в тюрьму приехало на проверку начальство из Кемерово. Входит в камеру подполковник, увидел Кожевникова и спрашивает:

— Ты как сюда попал?

— Гражданин начальник, сюда не попадают, сюда привозят, — ответил Кожевников.

Рувим Захарович сразу узнал его. В Анджеро-Судженске он был еще старшим лейтенантом. И там они познакомились. Кожевников был о нем хорошего мнения.

«Приличный мужик. Воевал. Был тяжело ранен. После госпиталя отправили в МВД. Вообще, далеко не все, кто служил в лагерях, опаскудились. В Прокопьевске начальником производственного отдела лагеря был Дроздов. Он часто со мной беседовал, — вспоминал Кожевников. — И признавался, что для него служить в лагере — тяжелейшая работа. “Лучше на фронте, чем здесь, — говорил он. — Почему многих держат с такими сроками?” Прежде чем отправить Дроздова на службу в лагерь, он прошел курсы. Там говорили, что в лагерях одни предатели, полицаи, к которым надо соответственно относиться. То, что он увидел в лагерях, не укладывалось в его сознании».

...Анджеро-Судженский подполковник повернулся к своим подчиненным и выругался матом. Потом приказал:

– Одеть заключенного Кожевникова по форме и вернуть в лагерь.

Рувиму Захаровичу выдали шапку, телогрейку, ватные брюки и валенки. Это было гораздо теплее той одежды, в которой его привезли в тюрьму. И отправили с конвоем обратно в лагерь.

Так для Кожевникова закончились антисемитские процессы, которые волнами накатывались на страну.

Рувима Захаровича в лагере уважали. Про него говорили: «Этот мужик соображает». Там, где он трудился, работа спорилась. Ему часто повторяли: «Ты ничего сам не делай. Скажи, как надо, а мы за тебя норму выполним».

Кожевников даже в лагере продолжал изобретать. Может быть, именно желание творить, придумывать, конструировать помогло ему выжить в нечеловеческих условиях. Когда в голове появлялась новая задумка, он отвлекался от серых, съедающих человека будней и побеждал депрессию, которая «повалила» многих заключенных.

...Зимой, в сибирские морозы, бетон, который везли с узла, мгновенно замерзал в кузовах самосвалов и не выгружался. Его надо было выдалбливать ломami. Это была тяжелейшая работа, к тому же уродовали кузов. Рувим Захарович предложил внизу кузова под бетоном стелить лист железа, он крепился цепями. Когда кузов поднимался, лист падал, и бетон выгружался. Первое время все радовались изобретению. Но однажды случился динамический удар, и кузов самосвала сорвало с поршней. Лагерное начальство, слава богу, не заподозрило в этом вредительства, но Кожевникову сказали: «Ты придумал, ты и будешь отвечать». И отправили в карцер.

Или еще одно изобретение бытового характера. На первый взгляд, мелочь. Но ему радовались, может быть, даже больше, чем производственным разработкам. Клопы в бараках были настоящей напастью. И справиться с ними никак не могли. Заключенные спали на длинных деревянных нарах в два этажа. Для клопов было настоящее раздолье. Кожевников, чтобы избавиться

от них, решил применить принцип самовара. В бачке кипятил воду. Бачок закрывался наглухо. Нагнетался пар, Кожевников ходил с «удочкой» и выпаривал клопов. Лагерное начальство ради такого дела пошло навстречу и достало манометр. Правда, со стен бараков текло, постели были мокрые, но клопов стало гораздо меньше. Недели две Рувим Захарович был на высоте. Начальство приказало выдавать ему двойную порцию баланды, на работу не гоняли. А потом решили, что у нас нет незаменимых людей, особенно среди заключенных. Любой может ходить с «удочкой» и выпаривать клопов. И произошел конфуз. Взорвался бачок. Хотя Кожевникова рядом не было, но ведь он устройство придумал – опять карцер.

Другой бы успокоился. Жил бы, как все. Дождался лучших времен. Но зуд изобретательства не оставлял Рувима Захаровича в покое.

На перегрузочной станции строили новый блок. И к нему приходилось таскать воду за тридевять земель. Воды надо было много, чтобы из асбеста делать плиты. Заключенные надрывались, таская ее по десять часов кряду. Кожевников предложил натянуть трос между двумя бункерами, привязал маятник, ведро. Наливаешь воду в ведро, отпускаешь, инерционно оно приходит к бункеру.

– Смотри, что делается, – говорили охранники, лагерное начальство, соседи по блоку, глядя на изобретение Кожевникова.

По ночам, когда барак постепенно умолкал, Рувим Захарович вспоминал войну. Ему снились взвод, бои под Гродно и Берлином.

Однажды утром, отряхнувшись от военных снов, Кожевников решил придумать осветительную мину. Зачем и кому она нужна здесь в лагере? Рувим Захарович не думал об этом.

Сделав осветительную мину, можно было засекать огневые точки противника, расположение его орудий, передвижение техники, войск.

Кожевников договорился с одним эком, и тот ему выточил на станке корпус мины и взрыватель. Рувим Захарович хотел на модели посмотреть, как мина будет действовать. Засекли токаря, тот во всем признался. Устроили у Кожевникова обыск.

Под матрацем нашли взрыватель. Рувима Захаровича тотчас сняли с объекта и к начальству. У того на столе лежала находка.

– Что это такое? – в гневе спросил начальник.

– Головная часть предполагаемой осветительной мины, – без запинки доложил Кожевников.

– В лагере... мина, – побагровев, закричал начальник.

– Она безопасна, – стал оправдываться Кожевников.

– Вот что, падла, я выйду, – на всякий случай, в целях собственной безопасности, сказал начальник, – а ты разбери ее здесь, у меня на столе.

Кожевников разобрал модель мины.

Начальник вернулся, посмотрел на это и нажал кнопку вызова охраны:

– В карцер, – приказал он. – В лагере такие вещи не делают.

Рувим Захарович все же написал подробное письмо об устройстве осветительной мины и передал его начальству. Письмо пошло в Управление лагерей. А дальше...

Судьбу многих своих изобретений Рувим Кожевников не знает по сей день. Хотя убежден в их ценности. Возможно, они были задействованы под чужой фамилией. А может быть, его чертежи, пояснительные записки пылятся где-то в архивах, потому что те, кому были адресованы письма, посчитали изобретателя «ненормальным».

Ну, разве нормальный человек, сидя в лагере, где предел мечтаний – лишняя пайка, будет просто так придумывать новый патронник к автомату?

У автомата Шпагина был круглый диск, который, как ни носи его, все время колотил по спине. А верхом на лошади и вовсе тяжело было ехать. Диск бил по бокам, не оставляя живого места. Кожевников предложил поменять форму патронника. Было и другое преимущество: не надо было ставить патроны один к одному, как в старом диске. Это было особенно неудобно во время боя. Поэтому бойцы носили с собой по две-три коробки, каждая весила по полтора килограмма.

...Весной 1953 года Кожевников сидел в лагере в Кемерове. Три дня их не гоняли на работу. В бараках шли повальные обыски, проверки. В воздухе витала какая-то тревога и

неопределенность. Никто из заключенных не мог понять, в чем дело. Переговаривались между собой, гадали: или кончат всех будут, или погрузят в вагоны и отправят на новое место.

А потом погнали на работу. После смены ведут обратно. Надо было пройти через поле. И вдруг бежит навстречу бородатый мужик, в рваных валенках, в старом расстегнутом полушубке. Бежит прямо на колонну. Конвой кричит: «Стой, стрелять будем». А он продолжает бежать. До нас оставалось метров тридцать, когда он закричал: «Сынки, зверь подох. На волю пойдете». Заключенные поняли, о чем кричал старик. Кто-то ему поверил, а кто-то сказал: «Сумасшедший дед». Потом уже начальство собрало бригадиров и сообщило, что умер Иосиф Виссарионович Сталин.

К лету 1953 года в стране почувствовалось легкое дуновение грядущих перемен. Еще никто, даже обладая большой фантазией, не предвидел, что ждет впереди.

После того, как новая власть признала виновным во всех бедах Лаврентия Берия, приговорила его к высшей мере и быстро привела приговор в исполнение, изменения в стране стали более ощутимыми.

Почувствовал их на себе и Кожевников. Его вызвали к начальству и объявили, что в порядке прокурорского надзора со срока сбросили 15 лет. Рувим Захарович, услышав эти слова, летел обратно в барак, как на крыльях. От назначенного срока оставалось десять лет. Из них пять он уже отсидел. Значит, остался пустяк – всего пять лет. Для тех, кому присудили двадцать пять, пять лет казались пустяком.

Это было в Новокузнецке. Кожевникова вызвал начальник, и то ли спросил, то ли сказал, заранее зная ответ:

– Если мы тебя расконвоируем, ты не убежишь?

Каким надо было быть идеалистом, чтобы ответить:

– От Советской власти я убежать не намерен.

– Ну, ладно, расконвоируем, – сказал начальник.

Расконвоируемые ходили на работу и с работы по тому же маршруту, что и остальные заключенные, но без конвоя, без собак. Сначала пропускали колонну, а потом вахта кричала:

– Расконвойка, выходи.

Заклученные должны были отмечаться и когда покидали зону, и когда возвращались обратно. «Расконвой» считался большим поощрением.

«Когда меня расконвоировали и дали пропуск на свободный проход через вахту, я всю ночь не спал, — вспоминает Рувим Захарович. — Думал, представлял себе, как люди сейчас на воле живут. Неужели у них есть столы, тарелки, миски... Я поднялся в четыре утра. Пошел на вахту.

— Падла, куда тащишься, назад, — стали кричать на меня.

— Я расконвойный, — ответил Кожевников.

— Новый какой-то, — сказал один охранник другому.

Рувима Захаровича выпустили из лагеря. Время было темное. Снега полным-полно. Далеко-далеко мелькали огоньки какого-то поселка. Кожевников решил, что он успеет сбегать туда, зайти в первую же хату, посмотреть, как живут люди, и к началу рабочего дня вернуться на шахту. Бежит, бежит, снег проваливается под ногами, уже выбился из сил, а поселок еще далеко. Вдруг увидел: стоит тренога, и сидят рядом три мужика. Шурф и бочка на лебедке. Это были «вольные» шахтеры. Они не ходили к копру, чтобы спускаться в шахту, а спускали друг друга вниз в бочке через шурф, и только последний шел в копер. Шахтеры подумали, что Кожевников беглый. А что еще могут подумать люди, когда видят, что ни свет, ни заря по рыхлому снегу бежит заключенный неизвестно куда?

— В бочку, садись быстрее, мы тебя в шахту спустим. А то собаки порвут, — сказали шахтеры.

— Я бесконвойный, — ответил Кожевников.

Ему не поверили. На сумасшедшего, вроде, не похож. Да и как сумасшедший вырвется из лагеря? Значит, беглый.

Кожевников понял, что до поселка не доберется, не хватит ни сил, ни времени, и пошел на шахту через проходную.

«Враги народа», работавшие рядом с Рувимом Захаровичем, стояли за него горой. Говорили:

— Пусть он старшим будет. Нам Кожевников нужен.

Но, когда в это утро Рувим Захарович вернулся на шахту и у него стали спрашивать: «Как там, на воле?», и он ответил: «Я ничего не видел, не добежал», на зоне решили:

«Зажрался, только дали расконвой, а он уже с нами говорить не хочет».

Вскоре Кожевникова назначили бригадиром, а еще через несколько недель его вызвал начальник и сказал:

– Нам нужен технорук. Все кандидатуры перебрали. На твоей остановились. Даешь согласие?

Чтобы в лагере у кого-то из эков спрашивали согласия – такого еще не было. Кожевников не поверил своим ушам. Но ему подтвердили: «Назначаем техноруком». У лагеря были производственные участки: лесоповал, деревообработка, каменный карьер и строительные бригады. Он теперь отвечал за все производство.

Рувим Захарович написал письмо жене, сообщил о последних новостях. И вскоре из Москвы пришел ответ, что Евгения Игнатьевна хочет приехать на свидание.

Начальник лагеря майор Василий Баркан хорошо относился к Кожевникову. Когда Рувим Захарович сказал, что жена хочет приехать, повидаться, он вначале неопределенно ответил:

– Подумаю.

А через несколько дней, увидев Кожевникова, сообщил:

– Нашел вам квартиру. На ночь буду отпускать.

Вскоре приехала Евгения Игнатьевна. Начальник лагеря даже машину к вокзалу отправил встретить ее. Потом подошел к Кожевникову и сказал:

– Жена на квартире. Я там кое-что приготовил из угощения.

Василий Баркан тоже был из фронтовиков. Весь израненный, после очередного госпиталя попал на службу в Министерство внутренних дел. Он сочувствовал Кожевникову, да и остальным фронтовикам, сидевшим в лагере, но был всего лишь винтиком в страшной ГУЛАГовской машине, заведенной из Москвы.

Два дня Рувим Захарович утром спешил на работу, а вечером с работы на квартиру. Он был счастлив этих два дня, ему казалось, что вернулась нормальная жизнь.

В лагере был столярный участок, где работали люди, вернувшиеся из Франции в Советский Союз. После Гражданской

войны они ушли за границу вместе с остатками Белой армии или эмигрировали со своими семьями. Советская пропаганда утверждала, что родина им все простила. Они были стариками и хотели умереть на русской земле. Но как только ступили на эту землю, их арестовали и дали кому десять, кому двадцать пять лет лагерей, а то и каторги. Многие из них были изумительными мастерами-краснодеревщиками. Научились этому ремеслу во Франции. Специально для них в лагере открыли столярный участок. Они делали мебель для Москвы, как тогда говорили, для «первого дома». Все делалось вручную: резьба, фанеровка.

Подали вагоны для отгрузки очередной партии мебели в Москву, а она еще не была готова. Лагерный гэбэшник Третьяк тут же сообщил об этом в управление. И добавил, что технорук Кожевников «на все положил», гужется с женой и так далее. Вероятно, получив соответствующее одобрение на строгие меры воздействия, Третьяк вызвал Рувима Захаровича в зону. У Кожевникова отобрали пропуск, а Третьяк объявил:

- Будешь законвоирован.
- У меня же там жена, – опешил Рувим Захарович.
- С женой решим, как быть. А ты из зоны больше не выйдешь.

Для Кожевникова это было крахом всех иллюзий, самым страшным наказанием, которое можно было придумать.

Он с трудом дождался, пока придет начальник, и пошел к нему.

– Сейчас в «запретку» брошусь, с вышки меня «окопытят» и все, – в сердцах сказал Кожевников. – Мы больше пяти лет не виделись. Она приехала. У меня отобрали пропуск.

– Разберусь, – сказал начальник, который и сам не очень ладил с гэбэшником, но в открытую не мог идти на конфликт.

Начальник куда-то пошел, потом вернулся и говорит Кожевникову:

- Пошли со мной.
- У меня пропуска нет. Через вахту не пустят.
- Иди первым, – зло сказал начальник. – Со мной пустят.

На вахте он обругал охрану, которая спросила пропуск у Рувима Захаровича, и их пропустили. Они пришли в контору, и Баркан сказал:

– Меня вызывают в Кемерово в управление. Будут «мыть голову». Отгрузку сорвали, жена твоя здесь. Сейчас иди на квартиру и скажи жене, что тебя срочно вместе со мной вызывают на лесоповал. Там блатные шум подняли. Пускай собирается, за ней придет машина, билет заказан.

Зона тут же узнала эту историю. Заключенных выгнали на работу, а Кожевникова оставили в лагере. Человек восемьсот или девятьсот – те, что вкалывали на шахте, отказались работать. Сказали: «Не знаем, что без технорука делать». Их пугали, им грозили. А они стоят на своем: «Не знаем, что делать». История могла получить огласку. Третьяк понял: это может помешать его карьере. Он пришел в лагерь к Кожевникову и сказал:

– Забирай свой пропуск и иди на объект, – но на всякий случай пригрозил, чтобы окончательно не уронить авторитет: – Мы еще с тобой разберемся.

Месяца три или четыре Кожевников проработал в бесконвойке.

Шел 1954 год. По стране, сквозь пелену страха, все активнее прорывались слухи о незаконно осужденных, о пересмотре дел, о беззакониях. Однажды начальник лагеря вызвал Кожевникова и сказал:

– Давай, мы тебя по двум третьим пустим. Только обещай, что ты не сорвешься, не уедешь и будешь работать вольнонаемным техноруком.

В переводе на общедоступный язык это означало, что начальник предлагал подать документы Кожевникова в суд и освободить его из заключения по двум третьим срока, которые он уже отбыл. В ответ он хотел услышать от Рувима Захаровича, что тот останется работать в лагере, хотя будет жить на частной квартире. Начальство устраивал исполнительный и честный технорук. Кожевникову стали платить зарплату.

Жена писала недоуменные письма: «В чем дело? Почему не приезжаешь? Тебя же освободили».

Так продолжалось почти год. Однажды (после отмены Указа об уголовной ответственности за самовольный уход с работы) начальник сказал: «Больше держать тебя не могу. Хочешь – уезжай».

Кожевников приехал в Москву. В справке, которую ему выдали, было написано: «Досрочно-условно освобожденный». И соответствующие знаки 58-й статьи – «враг народа». Рувима Захаровича предупредили, что он не имеет права жить в столицах республик, областных городах. А уж тем более, не имеет права и носа показывать в Москве. Приехал он к Евгении Игнатьевне. А куда еще ему податься?

Вся коммуналка знала, что он находился в заключении.

В соседней комнате жили две сестры, у которых было не все в порядке с психикой. Они выходили в коридор и кричали: «Как он здесь оказался? Он должен в тюрьме сидеть».

Рувим Захарович понимал, что долго так продолжаться не может, и пошел в военную прокуратуру. Евгения Игнатьевна уверяла, что дело на пересмотре. И следователь, который вел его, подтвердил, что надо подождать некоторое время и, скорее всего, будет полная реабилитация. Он уже беседовал со всеми, кто давал показания. Правда, говорил им, что Кожевников погиб в лагере и сейчас нужна объективная картина, чтобы хотя бы посмертно обелить имя человека. Те, кто давал показания «тройке», сейчас уверяли, что их заставляли клеветать. Трое взводных, оговоривших Рувима Захаровича, отказались от своих прежних показаний. Тогда же Кожевников узнал, что был еще и четвертый офицер, которого заставляли клеветать, но он отказался это сделать, и его выгнали из армии. Звали этого человека Николай Солдаткин.

На работу в Москве, пока не было полной реабилитации, Кожевников устроиться не мог. Его не слушали в отделах кадров и смотрели, как на чумного, от которого надо держаться подальше.

Рувим Захарович уехал во Львов. Там жили тетя Даша и ее муж Моисей Зигельман. Дядя, однажды сам чудом избежавший ареста, не испугался и помог сделать племяннику временную

прописку и устроиться на работу – на стройку. О лучшем мечтать не приходилось. На зоне Рувим Захарович стал мастером на все руки: он был и каменщиком, и столяром, и плотником. Брался за любую работу, и все у него спорилось. Он стал «видатным будавельником», как писали о нем в украинских газетах. Предлагали стать прорабом или десятником. И даже наградили за отличную работу месячной путевкой в санаторий.

Рувим Захарович, который первое время ходил в эковской одежде, купил новый костюм. Тетя и дядя были рады, что Рувим живет у них:

– Ты настрадался, навоевался, трать деньги на себя.

В Москве прошел XX съезд партии, на котором прозвучал доклад Хрущева о культе личности Сталина. Рувим Захарович был убежден, что возврата к прошлому больше нет. Правда победила, и ложь уже никогда не воскреснет.

...1956 год. Начались венгерские события. Советские танки стали утюжить улицы Будапешта. Во Львове, да и во всей Западной Украине, где компактно жили венгры, было немало людей, пострадавших от сталинской тирании. События в соседней стране вызвали особенный интерес.

В один из дней, когда Кожевников, как обычно, работал на стройке, к нему подошли мужчины и сказали:

– Пройдемте с нами.

Ничего не подозревавший Кожевников пошел следом. Они пришли в железнодорожный тупик. Там уже стоял эшелон, в который собирали всех, кто отсидел при Сталине или был на особом учете в госбезопасности. Делали зачистку приграничной территории.

И Кожевникова заперли в этот эшелон. Ему объяснили, что было указание очистить территорию от сомнительных элементов.

Тетя Даша ждала вечером с работы племянника. Он не возвращался. Она стала волноваться. Побежала на стройку. А ей говорят: «Арестовали».

– За что? Где он сейчас? – вопросы повисали в воздухе. Пока кто-то не сказал ей, что эшелон собираются отправить в Сибирь.

Она побежала на железную дорогу, нашла эшелон, принялась обходить каждый вагон и звать:

– Кожевников... Кожевников...

Наконец-то из одного вагона откликнулся Рувим Захарович.

На счастье, именно в этот день из Москвы от Евгении Игнатьевны пришла телеграмма: «Рува, ты полностью реабилитирован. Ждем тебя». Все понимали, что эта телеграмма может спасти Кожевникова. Но она не была заверена. Тетя Даша и дядя Моисей оббегали в тот вечер половину города, пробились за все закрытые двери. К ночи Рувима Захаровича освободили и выпустили из арестантского вагона.

– Коль свободен, – решил Кожевников, – значит, могу ехать к семье, в Москву.

В столице пошел в военную комендатуру, ему выдали маленькую справочку о том, что он реабилитирован и полностью восстановлен в правах. Эта маленькая бумажка была весом в целую жизнь. Ему сообщили, что все, что было конфисковано, вернут: ордена, партийный билет. А срок, проведенный в лагерях, зачтут в трудовой стаж.

Надо было прописаться в Москве. Без прописки человек не мог жить ни в столице, ни в маленьком захолустном городке. У жены комната 17 квадратных метров, и в ней жили четыре человека.

Начались проволочки с пропиской. Не хотели зэка, даже реабилитированного, пускать в Москву. Участковый приказывал, чтобы в 24 часа Рувим Захарович покинул столицу, а иначе – «загремишь за нарушение паспортного режима».

– Я полностью реабилитирован, – уверял Кожевников.

– Кто спорит, – соглашался участковый. – Но прописаться в Москве не сможешь.

Кожевников обходил десятки кабинетов, доказывая свою правоту, и наконец, после вмешательства прокуратуры ему разрешили прописку.

После суда Рувим Кожевников был рядовой, разжалованный. В военкомате ему вернули офицерский билет со званием «старший лейтенант» и хотели отправить служить дальше.

Кожевников не соглашался. Говорил:

– Под знамена, «ура» кричать сил больше нет.

Отец новых технологий

Устроился Рувим Захарович работать на мебельную фабрику. Его, мастера на все руки, грамотного человека, взяли на работу начальником цеха. Кожевников понимал, что необходимо учиться, восстанавливать знания. Пошел на подготовительное отделение в Московский инженерно-строительный институт. Сдал все экзамены. В учебе Кожевников всегда был прилежным, и его хотели без экзаменов зачислить на первый курс. Даже сказали об этом. Но когда вывесили списки студентов, фамилии Кожевников среди них не оказалось. Он стал наводить справки, и ему посоветовали сходить в первый отдел. Для тех, кто не знает, что такое первый отдел, поясню – это представитель сосбезопасности на заводе, фабрике, в институте.

Приходит Кожевников в первый отдел, а ему мордоворот, сидящий за столом, говорит:

– Почему вы скрыли в автобиографии, что были осуждены и находились в заключении.

– Я реабилитирован и имею право нигде не указывать это.

– С твоей биографией тебя в Москве в дворники не возьмут. Забирай свои документы, – подытожил разговор начальник первого отдела.

Пришел Рувим Захарович на мебельную фабрику, поделился горем: «Вроде, реабилитированный, да не для всех». Ему говорят: «Не печалься. Иди учиться в техникум по нашему профилю».

Два с половиной года Кожевников был учащимся Всесоюзного заочного техникума деревообрабатывающей промышленности. Когда приходил на сессию, преподаватели говорили: «У нас такого толкового студента раньше никогда не было».

Годы, проведенные в лагерях, давали о себе знать. Открылась язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки. Болел Кожевников серьезно и мучительно. Ему говорили: «Брось ты свою академию. Что нового она тебе даст?». А он, привыкший любое дело доводить до конца, решил, что обязательно окончит техникум. Когда защищал дипломную работу, рецензенты сказали, что она выполнена в объеме высшего учебного заведения. Он единственный был удостоен такой оценки.

Школа и техникум остались единственными официальными образованиями, полученными Рувимом Кожевниковым. Его перевели в конструкторы, а затем в главные конструкторы предприятия.

Здесь на мебельной фабрике и стал в полную силу раскрываться талант Кожевникова – конструктора, изобретателя.

«У меня все связано с пневматикой – сжатым воздухом. Начал я свои разработки, как сугубо производственные, чтобы улучшить качество выпускаемой мебели, облегчить труд, – рассказывал Кожевников и начинал рисовать в блокноте свои конструкции. – Вот заводской присадочный станок. Весил он тонны две, занимал уйму места. Моторы со сверлами должны ходить в разных направлениях и регулироваться, чтобы все детали во время сборки совпали. Я сделал легкий настенный станок на пневматике. Потом придумал сборочный конвейер. Устройство с помощью сжатого воздуха обеспечивало перемещение объекта по конвейеру».

На мебельной фабрике Рувим Кожевников проработал семь лет. И, наверное, и дальше занимался бы рационализаторскими предложениями на фабричном уровне, принимал делегации других предприятий и показывал свои разработки, получал грамоты и премии. Но приключилась одна история, которая, наверное, будет малопонятной сегодняшнему читателю.

Рувим Захарович был избран председателем фабричного партийного контроля. Однажды к нему пришли рабочие и сказали, что директор обнаглел, ворует чуть ли не в открытую. Грузят в машины шкафы, в них ставят тумбочки, столики. Это нигде не учитывается и вывозится за пределы фабрики. Дело, конечно, подсудное. Но битый жизнью Кожевников, который по здравому смыслу должен был сидеть спокойно (неужели мало ему досталось?!), вдруг решил разобраться. Что в нем выиграло? Жажда справедливости? Так ведь убедился на зоне: тернист к ней путь. Или Кожевников боялся выглядеть в глазах других людей трусом, уходящим от схватки? Так ведь мудрым уже стал и должен был понимать, что не в любом поединке можно победить. Наверное, он по-прежнему оставался идеалистом и не хотел видеть, что лозунги в этой стране живут

самостоятельной жизнью и редко соприкасаются с буднями и даже праздниками.

Директор вызвал Кожевникова и сказал:

– Тебя это не касается. Не твои дела, не лезь.

Кожевников ответил:

– Нет, это мои дела.

Назавтра у Рувима Захаровича отобрали фабричный пропуск и уволили по сокращению штатов. Он пошел жаловаться в райком партии. В глаза ему сказали, что директор – человек заслуженный, и мешать работать они ему не станут. А что говорили о Кожевникове за глаза в том же райкоме, можно только догадываться.

Рувима Захаровича еще со времен техникума приглашали на работу во Всесоюзный институт мебели, где знали его технологические разработки. Когда пришел, взяли на работу с удовольствием. Назначили старшим инженером. Рядом работали люди, которые плохо знали производство, распределились сюда прямо из институтов, да и к делу относились безо всякого творческого подхода. Творить дано далеко не каждому. Эта божья искра, которая посещает избранных.

В то время был приказ, который гласил, что без лицензии Всесоюзного института мебели в производство не должно попадать ни одного изделия. Институт составлял тома документации, люди усердно занимались бумажной работой, как говорит Рувим Захарович: «Для мышей». Исправно получали зарплату и радовались жизни. Кожевников выдержал лет пять такой службы.

Все свободное время он по-прежнему посвящал разработкам новых устройств. Причем делал это одержимо. Ему отказывали в признании, а он настаивал на своем и продолжал творить. В результате вышел на пневматические устройства.

Рувим Захарович рассказывал мне про торовые устройства со всеми подробностями, боясь, что его детище останется непонятым.

«Торовые устройства – давно известная штука. Если шланг вывернуть с двух сторон, концы спаять и надуть воздухом, получится удлинённый цилиндрический тор. Он обладает поразительными свойствами, которые до поры до времени никто просто не

замечал. Оказалось, что у торовых устройств неограниченные возможности. Они могут быть мягким захватом, опалубкой для заливки бетоном, причем как прямолинейной, так и гнутой, гусеницей для вездехода, которая не травмирует почву, и многим другим. Перечислять можно долго области, в которых могут успешно работать торовые устройства».

Рувим Захарович Кожевников написал письмо академику Ивану Ивановичу Артоблевскому. Академик увидел научную значимость разработок Кожевникова и пригласил его сделать информационный доклад на ежегодной конференции по «Теории машин и механизмов», которая проходила в Академии наук СССР.

Представляете, доклад в Академии наук СССР должен был делать выпускник заочного техникума, старший инженер отраслевого института. Даже младшие научные сотрудники, или как их называли «майонезы», в Академии наук смотрели на людей с такой биографией, как у Кожевникова, свысока. Считали их ненормальными изобретателями, доказывающими жизненность «перпетум мобиле». Наверное, в первую очередь, с этим было связано то, что у Рувима Захаровича скопилось немало отказных решений по торовым устройствам. Отказывал патентный институт, где экспертами чаще всего подрабатывали те же «майонезы» из академических институтов или люди, по случаю защитившие диссертацию и на этом основании считавшие себя учеными.

Кожевникову, например, писали, что все его устройства — это плод больной фантазии. Или вот такая фраза: «Если все так просто, люди давно бы до этого додумались». Или, например, сообщали, что «у американцев таких устройств нет». Кожевников и сам знал, что у них и ни у кого в мире таких устройств нет. Но не понимал, почему мы должны быть глупее американцев.

Про торовые устройства и отказы, которые Кожевников получил из патентного института, узнал корреспондент журнала «Наука и жизнь». В семидесятые годы это был очень популярный журнал. Его выписывали и покупали даже те, кто к технике никакого отношения не имел. «Наука и жизнь», как и «Техника — молодежи» были модными изданиями. Корреспондент приехал к Рувиму Захаровичу. Они долго и обстоятельно беседовали. А потом сотрудник журнала увез с собой тексты отказных решений.

Слух о необычном изобретателе-самоучке стал гулять по московским научным кругам. О нем говорили: кто с нескрывае-мой иронией, кто с любопытством, а кто и с профессиональным интересом.

Однажды в квартиру к Кожевниковым, в то время они уже жили в новом микрорайоне Черемушки, приехали два полковника. Им нужна была телега для перевозки спецгруза. Узнали про Рувима Захаровича, про его торовые гусеничные устройства и решили наведать изобретателя. Он показал им действующую модель. Полковники остались довольны увиденным. У телеги, которую предлагал Кожевников, давление на грунт было минимальным. Гораздо меньшим, чем у колесного устройства. Амортизация прекрасная. Другие плюсы.

Кожевникову предложили, и он перешел на работу во Всесоюзный институт связи. Это был «закрытый» объект, как тогда называли – «ящик». Отдел, в котором предстояло работать Рувиму Захаровичу, занимался антеннами, мачтами. Задача, которая стояла перед конструкторами, – разработать устройство, с помощью которого можно было бы в нужный момент за полтора-два часа поднять и смонтировать антенну. (Высота антенн равнялась многоэтажным домам). Задача сверхсложная. В институте ее пытались решать традиционными способами не менее пятнадцати лет, но не находили интересных конструктивных решений. Все мыслили частностями, и никто не видел картину в целом. Кожевников и здесь предложил решить задачу с помощью торовых устройств. Ему не поверили. Сказали, что во всем мире делают не так.

Научно-исследовательский институт, занимавшийся темами, связанными с обороной страны, был похож на обычную бюрократическую контору. Переписывали из года в год отчеты. Меняли для видимости несколько страничек. Просили новое финансирование. И время от времени выезжали на полигон для испытаний.

Не для Рувима Захаровича была эта работа. И через год, с неприятностями, с выговором, ушел Кожевников из этого «ящика». А еще через некоторое время он все же доказал, что самые мощные антенны можно быстро и надежно поднимать с помощью торовых устройств.

К этому времени Кожевников работал конструктором во Всесоюзном художественно-производственном комбинате Министерства культуры СССР. Как раз планировалась выставка в Лондоне «Золото из Оружейной палаты Кремля». Рувиму Захаровичу надо было сконструировать подиумы, витрины для размещения экспозиции. Помогала Евгения Игнатьевна, делала расчеты. С чьей-то легкой руки в одном из научных сборников написано: «Евгения Игнатьевна Кожевникова, кандидат технических наук, пожизненный ассистент Р.З. Кожевникова». Я уверен, что допущена неточность. Евгения Игнатьевна – соавтор многих работ мужа, хотя она оценивает свою роль гораздо скромнее.

Отправили выставку в Великобританию. Из Лондона прислали большое благодарственное письмо в Министерство культуры и попросили подарить им увиденное на выставке оборудование.

Рувима Захаровича сразу же назначили главным конструктором комбината. На этом месте, в этой должности от проработал 25 лет до выхода на пенсию. И после выхода на пенсию работал еще лет пять. Не хотели отпускать, да и чувствовал силы для работы. Чего же уходить на отдых?

Кожевников принимал участие в создании памятника Юрию Гагарину, который установлен в Москве. Делал в Киеве в Музее Отечественной войны диораму форсирования Днепра.

Восстанавливал после пожара диораму Бородинского сражения. Самое сложное в этой работе, как выяснилось потом, было сделать барабан для перевозки из Иванова ткани для изготовления панорамы. Гигантская катушка диаметром примерно в двенадцать метров должна была иметь прогиб не более одного сантиметра. Иначе ткань могла деформироваться.

Но, наверное, самой запоминающейся и самой сложной работой того времени была подготовка выставки одной картины – бессмертного шедевра Леонардо да Винчи «Мона-Лиза». Картина экспонировалась в Японии, когда там был с визитом председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин. Он убедил французов везти картину в Париж через Москву и показать ее в

первопрестольной. Японцы готовились полгода, чтобы привезти шедевр из Лувра и организовать выставку в Токио. Делали специальные несгораемые, непотопляемые контейнеры, с электроникой, определенным режимом температуры и влажности. Советским инженерам, конструкторам, искусствоведам, музейным работникам дали всего две недели, по истечении которых надо было представить программу транспортировки и организации выставки в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

За это короткое время разработали уникальный способ безопасной демонстрации картины. Был изготовлен специальный контейнер. Он прятался за стеной. Картину зрители видели через двойное пуленепробиваемое стекло. Они шли мимо этого оконца, как идут посетители Мавзолея мимо гроба Ленина. (Извините за сравнение.) Только если в Мавзолее можно хоть на мгновение задержаться, то здесь никакая остановка не предусматривалась. И ближе чем на три метра к окошку подходить было нельзя. Зал оснащался двенадцатью телекамерами, которые непрерывно вели наблюдение. Контейнер был начинен электроникой, поддерживал определенную температуру и режим влажности. Но весил он три тонны.

Притащили его в музей, поставили на ребро, а дальше надо было занести в зал и установить там. Монтаж и установку поручили Министерству монтажных работ. Они космодромы строили, другие ответственные объекты, поэтому им «Мону-Лизу» доверили. Пришли ребята умелые, опытные, но не учли, что музей – это все же не космодром. Говорят, надо комнату шпалами обложить, лебедки поставить, подъемные механизмы привезти. А сама комната – историческая ценность. Внизу сводчатый подвал, и там хранилась коллекция египетской керамики. Не разрешили в музее строительную площадку разворачивать. Через два дня должны были приехать специалисты из Лувра и дать разрешение на экспонирование «Моно-Лизы». Дело шло о престиже страны. Выставка была не только культурной акцией, но и политической.

Генеральный директор Всесоюзного художественно-производственного комбината вызвал Кожевникова и говорит:

– Надо завтра контейнер поставить на место. Если не сделаем, все полетят с работы, вплоть до министра.

Легко сказать: «Надо». А как это сделать? Рувим Захарович всю ночь не спал. Думал. Решение пришло под утро. На совещании у генерального директора предложил:

– Хочу проверить одну идею, хотя бы на модели попробовать.

– Останавливайте все производства. Все будут работать только на вас, – ответил генеральный директор.

А где-то в обед генеральный звонит Кожевникову и говорит:

– Бери монтажников и вези в музей. Там додумаешь и доделаешь.

Контейнер поставили за двадцать пять минут. Рувим Захарович и здесь применил пневматику. А если точнее, то призвал на помощь бытовой пылесос и шланги, которые и решили проблему.

...Министр предлагал свою машину, чтобы отвезти Кожевникова домой, но он был настолько вымотан и опустошен, ему хотелось побыть одному, и он сказал: «Пойду пешком». Шел до Черемушек часов пять или шесть.

Однажды вызвал Кожевникова генеральный директор комбината и говорит: «С вами хотят встретиться люди из Комитета по делам изобретений Совета министров СССР. Не догадываетесь, для чего?». Рувим Захарович рассказал ему про свои изобретения. «Ну, ну, – покачал головой генеральный директор, удивившись, что главному конструктору своей работы мало и он занимается еще чем-то. – Идите домой и ждите гостей. Скоро приедут».

Рувим Захарович приехал домой и стал готовиться к встрече. Все хранилось в маленьком чуланчике, где не только человеку, но и устройствам было тесно.

Приехало двенадцать человек, во главе с заместителем начальника Комитета.

– Рувим Захарович, я собрал всех экспертов, которые давали отрицательные заключения на вашем заявкам на изобретения, – сказал он. – Мы у вас будем полчаса. Если вы докажете свою правоту – будут положительные решения, если не сможете – заканчиваем всякое общение.

Титулованная комиссия пробыла у Кожевникова пять часов. Все устройства исправно работали, не было ни одного сбоя. Заместитель начальника Комитета смотрел то на торовые устройства, то на Кожевникова, то на своих экспертов. В конце концов, он не выдержал и прилюдно назвал экспертов идиотами. А вскоре вышел приказ, гласящий, что все изобретения Кожевникова становятся «закрытыми». Никаких публикаций, выступлений. Изобретения имели не только серьезное экономическое, но и оборонное значение. Рувиму Захаровичу прислали бумаги, что его работы не подлежат оглашению, авторские заявки «закрыты», в чем он должен расписаться. Кожевников тут же отправил заказные письма в редакции газет, в Академию наук, военным и сообщил им о «закрытии» своей темы.

Евгения Игнатьевна, а она уже к этому времени давно была кандидатом технических наук, специалистом по гидравлике (и это подстегивало: жена – ученый человек, а он – инженер без диплома), сказала: «Ну, Кожевников, ты вышел на орбиту».

С Рувимом Захаровичем стали работать эксперты из Комитета по изобретениям. Уточняли, проверяли, анализировали. Не прошло и месяца, как вдруг в журнале «Техника–молодежи» появляются описания устройств Кожевникова с рисунками, схемами. Когда увидел, глазам не поверил. Он же «закрытый». Это – уголовное дело. Тюрьма. От переживаний у Рувима Захаровича случился сердечный приступ. Ему непрерывно звонили из Комитета, но жена отвечала: «Болен, подойти к телефону не может». За это время разобрались, что редакция журнала получила уведомление о «закрытии» темы, но тираж уже был частично напечатан, и переделывать его было поздно. А может, кто-то хотел отодвинуть Кожевникова от темы и «раскрыл» ее.

После публикаций интерес Комитета по изобретениям угас. А Кожевников стал ежедневно получать письма со всего

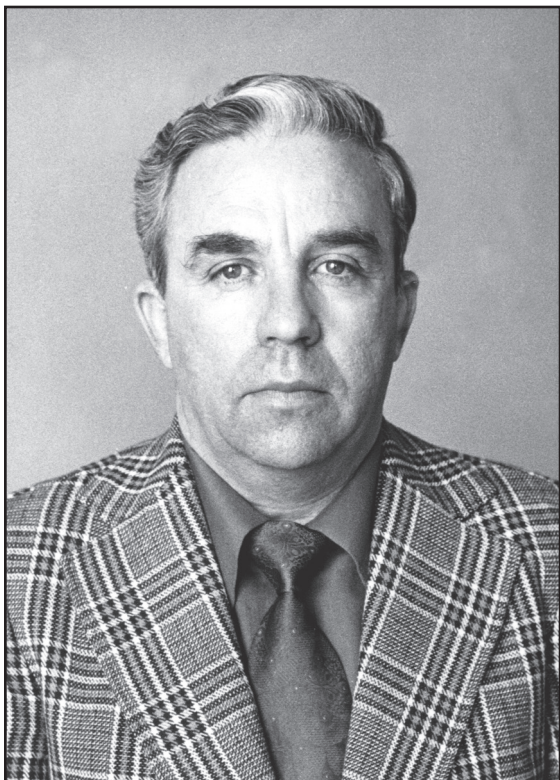
Советского Союза. Всем нужны были торовые устройства. И нефтяникам, и газовикам, и работникам лесной промышленности, и речникам, и морякам, и военным, и гражданским. Не хватило Рувиму Захаровичу деловой хватки. К его бы мозгам да разворотливость предприимчивого человека! Даже в годы советской власти он мог бы стать очень обеспеченным человеком и сделать солидную карьеру. Но Кожевникова никогда не интересовало, какую отдачу он может получить от своих изобретений. Его интересовал сам процесс творчества. Это выглядит странно и совершенно не понятно, но за свои устройства Кожевников не получил ни копейки. Он напоминал средневекового алхимика, желающего получить из свинца золото просто, чтобы доказать себе и другим возможность такого чудесного превращения.

Поначалу Кожевников отвечал на письма, объяснял, что такое торовые устройства, писал про их эффективность. А потом прекратил переписку.

— Никто не сделал мне никаких конкретных предложений, — сказал он. — Даже «спасибо» забывали говорить.

Наверное, самому надо было пробивать, настаивать, находить «нужных людей», записывать их в соавторы. Конечно, есть и другие

Рувим Кожевников, Москва, 1970-е годы.



пути пробиться, более честные, более достойные, но, к сожалению, менее эффективные. Так было во все времена. А уж особенно расцвело бурным цветом в годы советского застоя, когда над моралью больше всего издевались те, кто громче других ее декларировал.

Кожевников продолжал работать с торовыми устройствами. Решил, что можно сделать торовое стыковочное устройство для космических аппаратов.

Шел 1980 год. «Союзы» и «Аполлоны» уже вовсю бороздили околоземной космос и периодически стыковались. Рувим Захарович копался в библиотеках, изучал литературу. Стыковочный узел, который применяли в это время, – это самый сложный технический агрегат, состоящий из полусотни различных элементов. Работа заняла много времени. Но это было удивительно интересное время. Кожевников понял, что торовые устройства пригодны не только для Земли, но и для космоса. Он написал заявку и привез ее в патентный институт. Рувима Захаровича вместе с заявкой подняли «наверх» к большому начальству. А там, для начала, спросили:

– Кто у вас соавтор? Вы даже не кандидат наук... Где вы работаете? В Министерстве культуры...

На Кожевникова смотрели и ничего не понимали. Заявка сделана профессионально... Но космос – это удел избранных. А здесь – из Министерства культуры, без высшего образования...

Три года на разных заседаниях, конференциях, ученых советах обсуждали стыковочное устройство для космических кораблей, разработанное Кожевниковым. Пока наконец-то не признали и не вручили авторское свидетельство № 805587. Эксперты вынуждены были согласиться, что устройство, как записано в свидетельстве, «обеспечивает погашение энергии соударения и колебания, сцепку, выравнивание и стягивание аппаратов, а также их расстыковку». Тему тут же объявили «закрытой». Отпечатали всего шесть экземпляров авторской заявки. К Кожевникову приезжали специалисты из ЦАГИ, научно-исследовательского института, занимающегося космосом и авиацией. Говорили, что занимаются его работой. Консультировались.

– Вы должны работать у нас в ЦАГИ, – уверяли его.

А вот по поводу гонораров за разработки почему-то речь ни разу не зашла. Кожевников и потом не заводил разговор о деньгах, прилюдно даже не вспоминал о них. Он прожил всю жизнь бессребреником, на зарплату советского инженера, и считал это в порядке вещей.

Рувич Захарович придумал торовое устройство для дозаправки самолетов в воздухе. Выдали очередное авторское свидетельство, и тему снова быстренько объявили «закрытой».

— Я даже не знаю, — признался Кожевников, — это внедрено в практику или нет. Может, летает, а может — лежит в мусорном ведре мое изобретение.

В одной из папок Кожевников хранил газетные и журнальные вырезки о своих изобретениях. О них писали самые солидные советские газеты: «Социалистическая индустрия», «Советская Россия», популярные журналы «Наука и жизнь», «Техника — молодежи» и другие.

10 мая 1982 года самая главная советская газета того времени «Правда» опубликовала статью «Что может тор».

«Пневматические конструкции из тканей с резиновым и пленочным покрытием, применяемые в различных областях народного хозяйства, порой более экономичны и рациональнее любых других. Учитывая это, изобретатель главный конструктор Всесоюзного производственно-художественного комбината Министерства культуры СССР Р. Кожевников посвятил несколько лет (скромно сказано, на самом деле гораздо больше времени — А.Ш.) разработке и применению торовых пневмооболочек. Им создан комплекс устройств, отличающихся простотой конструкции и изготовления. Они имеют малую металлоемкость, транспортабельны и удобны в хранении.

...К сожалению, организации, где создают аналогичные по назначению устройства, пока не проявляют особого интереса к «чужим» изобретениям, а порой и необъективны в оценках их новизны и пользы. Сложилась ситуация, когда целый комплекс оригинальных изобретений, по-новому решающих важные народно-хозяйственные задачи, лежит без движения.

Думается, заинтересованным Министерством и ведомствам пора объективно оценить и на практике использовать изобретения Р. Кожевникова».

Казалось бы, после такой статьи в «Правде», органе ЦК КПСС, где каждая строчка была директивной, изобретениям Рувима Захаровича дадут зеленый свет. Но на деле получилось все, как было обычным в те годы. Нужные бумаги легли в папки, папки были поставлены на полки и покрылись пылью. Самые лучшие идеи и начинания в очередной раз были скорректированы чиновниками и так и не увидели своего реального воплощения.

Впрочем, одно из изобретений Кожевникова — стиральная машина — уже в те годы нашло свое применение. Сделанная на базе тора, весившая несколько сот граммов: в нерабочем состоянии она висела на гвоздике в ванной. А в рабочем — отлично служила семье Кожевниковых.

А потом в стране наступили новые времена, появилось свободное предпринимательство. О Кожевникове вспомнили люди, решившие в короткое время заработать большие деньги. К Рувиму Захаровичу домой зачастил один из «новых русских». Честный и достаточно наивный Кожевников обрадовался вниманию, поверил в перспективы и открылся компаньону. Тот вскоре стал крупным предпринимателем, заработал немалые деньги, используя разработки Кожевникова. А об их авторе в очередной раз забыли.

В 2004 году в Иркутске в Государственном техническом университете проходила Первая Международная научная конференция по торовым технологиям. Естественно, Рувима Захаровича пригласили принять участие, но, к сожалению, здоровье уже было не то и прилететь в Иркутск он не смог. Но через пару месяцев получил книгу «Торовые технологии», которая состоит из докладов, сделанных на конференции. Фамилия Кожевников — наиболее часто упоминаемая в этой книге. Приведу одну из цитат:

«Несомненно, можно сделать вывод, что основателем и отцом торовых технологий в части разработки основных схем функционирования и проверки этих схем на действующих моделях является выдающийся русский изобретатель-самоучка Кожевников Рувим Захарович, активно продолжающий в настоящее время свою изобретательскую деятельность».

Летом 2005 года я несколько раз приезжал в Городок, встречался с Рувимом Захаровичем. Все теплые месяцы он вместе с женой Евгенией Игнатьевной проводит на родине. Живут в небольшом старом домике, стены которого, по словам Рувима Захаровича, «держатся на обоях». Во дворе Кожевников своими руками соорудил сарай с лежаком. В жаркий полдень здесь удобно укрыться от солнца. Домик находится недалеко от того места, где до войны жила семья Кожевниковых. Обстановка в «летней резиденции» немудреная, главное место в зале (он же является и спальней) занимает кульман.

– Над чем работаете? – спросил я у Рувима Захаровича.

Он ответил:

– Не будем опережать события, со дня на день должны рассматривать мое новое изобретение.

Так прошли последние десятилетия: от одного изобретения до другого, которые, как верстовые столбы, отмеряли его жизнь.

У Рувима Захаровича было более тридцати авторских свидетельств. А у его последователей – уже более двух тысяч, и почти никто из них не упоминает в своих открытиях о Кожевникове.

В свое время Государственный комитет по открытиям и изобретениям СССР неоднократно предлагал Рувиму Захаровичу устроить на ВДНХ выставку действующих моделей его торовых устройств. А Рувим Захарович считал, что изготовленные (в основном, в домашних условиях) модели не отвечают требованиям выставочных экспонатов и не могут в полной мере раскрыть сущность торовых устройств, их новизну, особенности и преимущества. И эти заманчивые предложения были отклонены. К сожалению, скромность, требовательное отношение к себе не всегда вписываются в быстро меняющиеся нормы жизни и уж никак не ведут к успеху.

Центральный политехнический музей Москвы после доклада с демонстрацией моделей торовых устройств предложил Кожевникову передать их ему за солидное вознаграждение.

Казалось бы, радуйся: тебя признали, твои работы будут экспонироваться в столичном музее, да и деньги пока никто не отменял, и они всегда нужны даже такой непривередливой и интеллигентной семье, как Кожевниковы. Но Рувим Захарович



Рувим Захарович Кожевников, Городок, 2005 г.

по-своему определил судьбу большинства моделей изобретений: передал их в дар на вечное хранение (если что-то бывает вечным) краеведческому музею родного Городка.

В 2001 году Рувим Захарович Кожевников был удостоен звания «Почетный гражданин г. Городка».

Есть что-то более важное для Кожевникова, чем деньги или слава...

Мал Городок, да дорог ему. Рувим Захарович предан земле, на

которой родился, земле, которая должна хранить память о его предках...

Для многих он казался наивным: человек, оставшийся верным идеалам юности, творец, ищущий новые пути в науке.

...В январе 2007 года из Москвы пришло скорбное известие – перестало биться сердце Рувима Захаровича Кожевникова.

Содержание

На родине моих снов	4
Перельманы из Лужков	52
«Боже, благослови Америку»... и не забудь про Толочин	78
Алхимик новейшего времени	114

Библиотека журнала «Мишпоха»
Серия «Мое местечко»

Литературно-художественное издание

Шульман Аркадий Львович

НА РОДИНЕ МОИХ СНОВ

Очерки

Ответственный за выпуск —
Редактор и корректор — Е.Л. Гринь
Компьютерное макетирование и верстка — Е.Д. Грезова

На обложке использован рисунок Бориса Хесина.

Фотографии Аркадия Шульмана,
а также из архива журнала «Мишпоха» и семейных архивов.